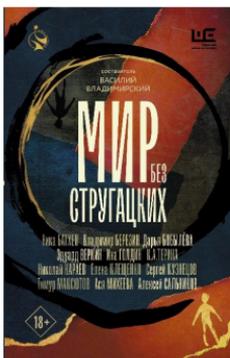
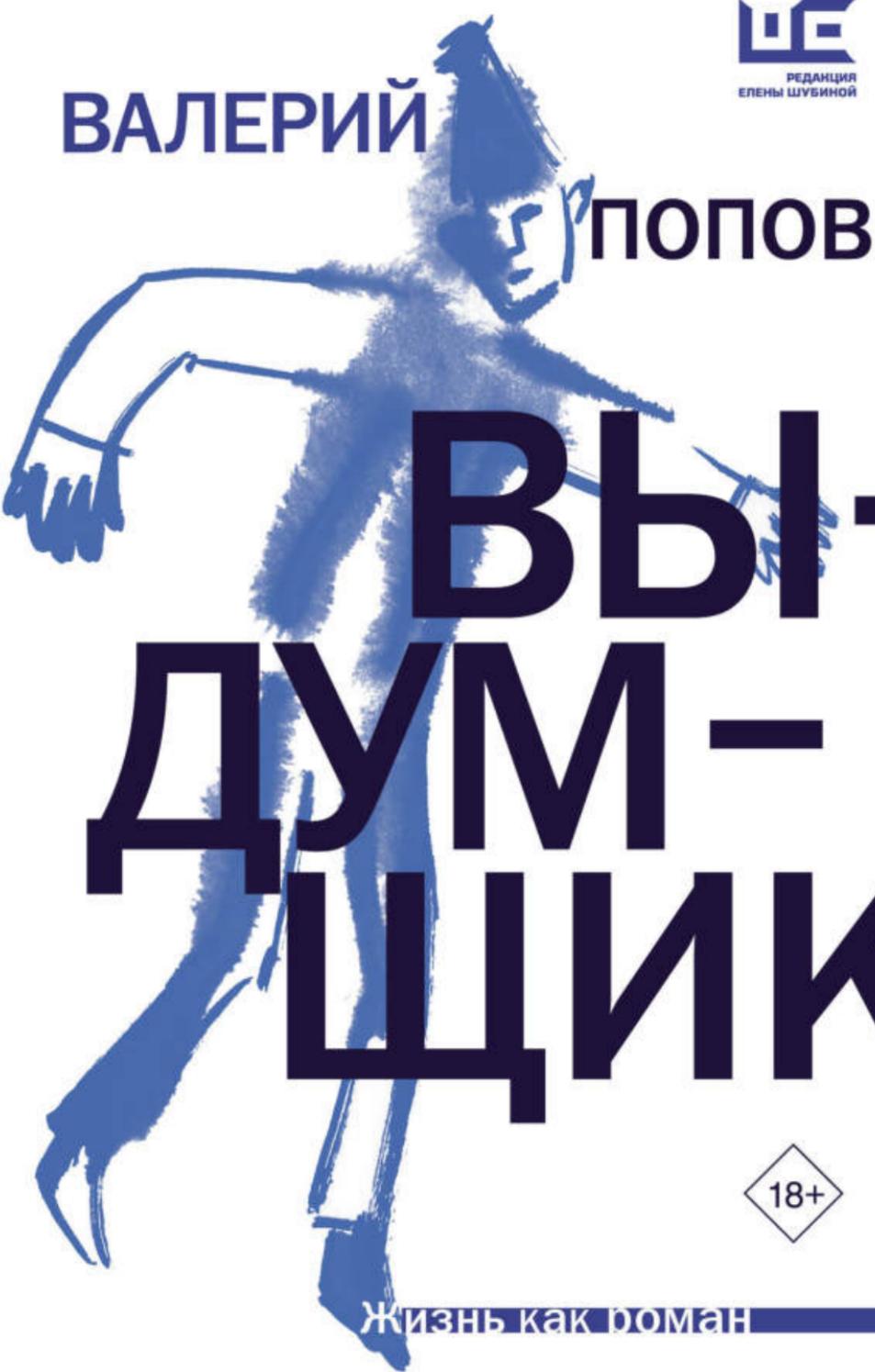


Дайджест содержит отрывки из книг:



ВАЛЕРИЙ

ПОПОВ



ВЫ-
ДУМ-
ЩИК

18+

Жизнь как роман

4.

Я четко шел на золотую медаль, но кое-кто сумел разглядеть мое «второе лицо». Даже я про него на время экзаменов забыл! Зло особо опасное, потому что скрытое! — такими разоблачениями увлекались тогда. И Елена Георгиевна, преподавательница английского (гордящаяся своей принципиальностью), сумела-таки меня разоблачить и на выпускном экзамене вклеила четверку. Раскусила меня! Хотя «на первый взгляд» я отвечал хорошо — но она смотрела глубже. Наша классная, Людмила Дмитриевна, увидев меня, кинулась в экзаменационную, где услышала приговор: «Он ставит себя как отличник, а знает на четыре!» Тоже верно. Хотя «ставить себя» тоже надо уметь. Пролетаю! Но еще не пролетел?

Я пришел домой. Длинная комната была залита солнцем. Бабушка только помыла пол, и старые желтые половицы слегка «дымились» и пахли гнильцой. «Надо все запомнить!» — почему-то подумал я. Определяется твоя жизнь. Без золотой медали хана. Я могу играть только роль отлични-

ка! Для остальных... не хватит органики, и ты всюду провалишься. Мысль работала необыкновенно четко. У тебя — час... если еще результаты не отослали в РОНО. И ты прекрасно уже знаешь, что делать. Иди! Зябко? А как же!

Везло мне когда-то! Красивая улица Чайковского, одна из любимейших, вдохновляющих меня, — а не какой-нибудь безликий квартал. Май! Все цветет. Поликлиника с фигурными стеклами любимого (может быть, с того раза) модерна. Мраморная лестница в стиле «волна». А вот это надо убрать — подсвеченные изнутри стеклянные столбики с цветными фотографиями всяческих язв, последствий дурного образа жизни. «Убери, Еремей!»

В кабинет врача я, однако, вошел скромно. На самом деле я действительно был робок, что кстати. Интеллигентная женщина в белом. И я взволнованно ей все рассказал — имитировать волнение не пришлось.

— А сам-то ты как оцениваешь свой ответ? — строго спросила она.

— Ну-у... Можно было поставить пять! — с обидой сказал я. — Но можно и четыре! — честно добавил я.

— Так сделай так, чтобы было «нэ можно»! — улыбнулась она. — Вижу, как это важно для тебя... Поэтому ставлю тебе пять!

— Где?!

— В справке. Пишу: тридцать восемь и пять.

— Обещаю, вы не пожалеете!

И обещание держу.

В кабинете директора был траур. Собрался весь педагогический состав. ЧП! Укатилась медаль, которая бы украсила школу. Тут же сидела и Елена Георгиевна, ее тоже сумели расстроить. Когда я, стерев улыбку с лица, скорбно положил справку — просияли все. Не скажу про Елену Георгиевну. «Подготовился!» — проговорила она на передаче с легким презрением к приспособленцам.

И в 1957 году я оказался в ЛЭТИ — Ленинградском электротехническом институте! Годы стараний, а также страданий даром не прошли! И вот — институт: умные, интеллигентные, веселые друзья. А преподаватели, это чувствовалось, тоже совсем недавно были как мы. Общались запросто. Здесь действительно можно было выразить себя. Преподаватель теории поля играл с нами в капустнике, сочиненном студентами, и мы смеялись вместе. Были сюжеты из классики — но в нашем переложении.

1. Каренина хочет кинуться под поезд, падает плашмя, и тут из-за кулис появляется мальчик в коротких штанишках и тащит на ниточке крохотный паровозик. «Ту-ту!» — кричит он тоненьким голоском. Оскорбленная Каренина вскакивает и, злобно пнув паровозик, убегает.

2. Раскольников приходит к старухе-процентщице с топором, замахивается, чтобы убить ее... но попадает в полено и раскалывает его. Замахивается снова, юркая процентщица ускользает... и так он раскалывает все ее дрова. Старушка дает

ему пятак, он гордо его показывает и удаляется. Аплодисменты.

Вокруг оказались лучшие из разных школ — институт был тогда одним из самых притягательных. Веселые, умные ребята и, кстати, прелестные девушки, идущие навстречу благородным порывам.

Однажды мы задержались с друзьями и подругами у меня на несколько дней (мама уехала в Москву к Ольге, вышедшей замуж), и вдруг рано утром тревожно запела дверь, и мы застыли с фужерами в руках. Картина «Завтрак на траве», без «ню». Было ясно, однако, что девушки не приехали на раннем метро. Бутылки сияли в лучах расвета. Мама молча кивнула и прошла к себе.

— Это конец? — спросил Слава, мой друг.

— Давай, Слава! Иди! Мама тебя любит! — подтолкнул его я.

И Слава пошел. Минут через пять я подкрался к маминой двери, припал.

— Да что ты, Слава! — весело говорила мама. — Я вовсе не волнуюсь! Я знаю — Валерка умеет пить.

Эта была одна из самых важных фраз, услышанных мною от нее, за что я ей вечно благодарен. Живем с размахом!

Уметь пить и уметь не пить — разные вещи. Мы выбрали первое. Помню, рядом с Адмиралтейством, на Неве, был плавучий ресторан-дебаркадер, и совсем недавно, кажется, мы тут справляли

мальчишник перед женитьбой нашего друга. Мы первокурсники, он был из провинции, недавно вернулся из армии и жениться ехал к себе домой... Так что мы заодно и знакомили его с нашим прекрасным городом. Помню, мы даже помогли ему купить золотое кольцо, что в те годы было непросто. Мы заняли крайний столик на верхней палубе, с видом на золотой шпиль Петропавловской крепости, раскрыли в центре стола коробку и любовались золотым сиянием кольца, гармонировавшим с сиянием шпилья, а также зубов некоторых посетителей. Помню вечерний блеск Невы, теплый ветерок, алкоголь, блаженство. И тут наш друг Петр решил вдруг вкусить запретных радостей, которых он прежде был лишен и, видимо, будет лишен и в будущем. Он забирался на сцену, шептался с оркестрантами, потом объявлял в микрофон: «Посвящается прекрасной незнакомке. Танго “Целуй меня”!» И так пять раз! И шел приглашать одну и ту же прелестную даму средних лет, сидевшую, кстати, с мужем-полковником и сыном-пионером. Нашего друга, упрямого провинциала, привыкшего всего достигать упорством, препятствия не смущали, а только еще больше убеждали в правильности выбора. Соглашавшихся сразу он не уважал. И все повторялось снова. Да — наш неотесанный друг не стал еще утонченным ленинградцем! Наконец, полковнику это надоело — вспыхнула честная мужская драка, и после мощного удара полковника Петр рухнул на наш столик.

Честный полковник не стал его добивать, наоборот, дружески посоветовал Пете пойти осве-

житься, и тот, с удивительным для него послушанием, выкрикнул: «Есть!», быстро снял с себя верхнюю одежду, аккуратно сложил ее на стуле, вышел на палубу (верхнюю) и маханул в воду. Последовал мощный всплеск, но мы даже не обернулись: видимо, для Петра это было вполне нормальным развитием событий — а у нас на столе, к счастью, еще оставались яства.

Отвлек нас пронзительный женский крик. Что еще, интересно, смог он отмочить, находясь при этом в воде? Картина, которую мы увидели, выйдя на палубу, — одна из наиболее красочных, виденных мной. Какой-то абсолютно черный человек карабкался из воды на дебаркадер. В то время крупнотоннажные суда смело заходили и швартовались в устье Невы, и консистенция мазута была вполне достаточной для того, чтоб превратить нашего белесого Петра в негра. Мы были в те годы элегантны — и не очень хотели контактировать с человеком в мазуте. Он слишком расширил спектр дружеских услуг, которые мы могли бы оказать ему при той степени духовной близости, что между нами была. Да и был ли это наш Петр? Это надо бы обсудить не спеша. Между тем силы покидали «пришельца», точнее «приплывца», и влезть на дебаркадер и продолжить пир у него не получалось. Все шло иначе, нежели он хотел. Не его день! Хоть и прощальный. Над ним стояла повариха в белом колпаке и била его по голове поварешкой на длинной ручке. Над вечерней водою плыл протяжный звон. А мы буквально застыли, созерцая, как прекрасен наш город с воды,

на закате, который покрывает все золотом. Чуть слышно доносились крики слабеющего Петра, перекрываемые мелодичным звоном. «Нет! — решили мы. — Человек, тем более по имени Петр, не должен пострадать в нашем городе. Ведь мы — петербуржцы!» Мы приблизились к красавице-поварихе, готовившейся нанести новый звонкий удар по голове нашего друга, мягко остановили ее руку и сообщили ей, что это вовсе не диверсант карабкается на наше судно, а, наоборот, счастливый жених. Тут она подобрела, протянула ему рукоятку поварешки, вытащила и потом даже позволила жениху вымыться в душе. Петр появился вымытый, прилизанный, где-то даже элегантный и, снова взяв микрофон, публично извинился — «за предоставленные неудобства», как выразился он. И зал, находившийся под впечатлением чудесного вечера вокруг нас, дружно зааплодировал. Мы снова сели за стол и подняли бокалы: за пейзаж за окном, за эту минуту, когда все мы счастливы.

И вдруг — ужас сковал наши члены. Не было кольца! Исчезло вместе с коробочкой! «Украли!» — мрачно сказал наш Петр. В этот момент формировалось его отношение к нашему городу. «Нет!» — сказал я.

Я вышел на сцену и объявил, что у жениха нашего пропало кольцо. Что тут сделалось! Все бросились искать! И дамы в вечерних платьях, и кавалеры во фраках — рухнули на колени и поползли. И нашли! Нашел — пионер, сын того самого полковника, с которым наш Петр только что бил-

ся. Пионер поднял кольцо, и оно засияло! Папа-полковник похлопал его по плечу. Наш Петр, прослезившись, сказал, что это лучший день в его жизни, и после этого стал преданным питерцем. И так, и только так и должно все происходить в нашем городе.

Но он принимает не все! Однажды я шел по пляжу в Солнечном, где по выходным собирались все наши. И вот я их увидел в уютном углублении между двух дюн. И чем, вы думаете, они занимались в это чудесное утро? Читали книгу! Вслух! Точнее — читал Слава Самсонов, а остальные катались от хохота. Что читал? Книгу популярного советского автора, четырежды, кажется, лауреата Ленинской премии. Что ж это за дивный текст? Разве можно смеяться над произведением такого автора — если он не хочет? А он явно не хотел такого эффекта, писал серьезно и даже с пафосом. Но...

Вот наш герой, партийный секретарь из медвежьего угла дальней Сибири, такой крепкий, видный мужик, в которого сразу влюбилась красавица-герцогиня, стоило ему оказаться в Италии в составе делегации... Ну, а в кого ей еще влюбиться, посудите сами? Была замужем за герцогом-хлюпиком, но, естественно, разочаровалась... И — вот! Настоящий «сибирский медведь»! И, забыв о приличиях высшего света, она сразу стала ластиться к нашему секретарю.

— Скажите, из какой ткани ваш костюм? Вы шили его в Париже или в Нью-Йорке?

Валерий Попов

— Нет! — рявкнул он. — Костюм шит из ткани нашей районной фабрики, нашими мастерами! А ты чего думала?

Может, именно из-за суровости героя герцогиня потеряла голову окончательно и устремилась вслед за ним в Сибирь, кстати — с малолетним сынком от нелюбимого ею мужа-герцога. В Сибири она назойливо следовала за своим избранником по всяческим заимкам, падям и запаням, не отставая ни на шаг, все еще надеясь на женское счастье. Сначала она умоляла жениться на ней, суля миллионы и замки, но это оставило равнодушным его, потом соглашалась принадлежать ему и без брака (сынок ее, кстати, тоже был без ума от нашего богатыря). Потом она уже предлагала ему миллионы без себя, с обещанием, что она скроется и больше не появится никогда!.. На этот вариант он хмуро согласился — при условии, что средства будут вложены в местную деревообрабатывающую промышленность. И она — расцвела! В смысле — деревообрабатывающая промышленность. Герцогиня-то как раз уехала вся в слезах. Вот как надо обходиться с миллионершами, а уж тем более — с герцогинями русскому мужику!

Но читаем дальше. И сердце простой русской бабы дало трещину под влиянием суровых чар нашего героя. Понятно — он не давал ей надежд. Тем более — на службе. Она как раз работала под его началом в обкоме. И вдруг! Измотанный делами, он дал слабину. Не подумайте плохого — поехал на рыбалку. Отъехав чуток, с чувством облег-

чения вылез из опостылевшей черной «Волги» — и пошел в лес! Он уходил, как простой смертный (да таким он в душе и был!), босиком по росе, неся ботинки из спецраспределителя — на прутике за спиной! Сжимается сердце. Слезы умиления душат нас... Он ладит костерок, ставит палатку... вот что на самом деле ему по душе. Ночью он слышит хлюпающие по лужам шаги. «Чай, хозяин балует», — думает он (хозяином в тайге называют медведя), всаживает в ствол смертельный жакан и отбрасывает полость... Перед ним стояла Она. Нет — не герцогиня, а та, из обкома, не сдержавшая себя! И он — не сдержал себя. То есть — дают нам немного «человечинки»... Мол, и нам ничто человеческое не чуждо. Но в каком образе предстает Она! Не подумайте — не голая. Русская женщина не из таких. А из каких?.. Читаем. «Она была в длинных брюках, но босая. На животе ее свисала банка с червями...» Черви, видимо, для клева? Тут и я, до того болеющий за коллегу-лауреата, не выдержал и захохотал. Много спорят о том, что погубило советскую власть. Она же сама и погубила себя, нелепо раздулась — и лопнула. Как и ее литература. Разумеется, я имел в виду самую позднюю, непомерно раскормленную, тупую и злобную. Судите сами.

Наутро после роковой рыбалки было экстренно собрано бюро райкома. И «девушка с червями» была наказана за ее «безоглядность». «Девку надо спасать!» — так, по-партийному, сформулировал наш герой. И ее гуманно послали учительницей в глухое село. Расшвырял наш герой своих

Валерий Попов

девок на Запад и на Восток, и это — правильно. Не до них! Дел по горло. Тем более и жена дома имелась, да и детки... Вот так. А автор получил Ленинскую премию — кажется, уже четвертую.

Ну, и вполне естественно, что после такого появились всяческие насмешки, гротески и фэн-тези. К этому и шло. «Советская литература — мать гротеска!» Такое вызывало резонанс в душе, и хотелось создать нечто подобное.

И однажды, читая в аудитории на лекции по марксизму-ленинизму советский детектив (других тогда еще не было), я вдруг громко захохотал и был выдворен. Не успел даже сказать, что я смеялся не над марксизмом, и уж тем более не над ленинизмом. Над обычным детективом. Но что-то удивительное там было... «Петров и Прошкин шли по территории завода. Вдруг грохнул выстрел. Петров взмахнул руками и упал замертво. Прошкин насторожился». Его друга убили у него на глазах, а он всего лишь «насторожился». Какая выдержка! И я тут же сел возле аудитории на подоконник и написал рассказ.

СЛУЧАЙ НА МОЛОЧНОМ ЗАВОДЕ

Два лейтенанта, Петров и Брошкин, шли по территории молочного завода. Вдруг грохнул выстрел. Петров взмахнул руками и упал замертво. Брошкин насторожился. Он подошел к телефону-автомату и набрал номер:

— Алло! — закричал он. — Алло! Подполковник Майоров? Это я, Брошкин. Срочно вышлите машину на молочный завод.

Брошкин повесил трубку и пошел к директору завода.

— Что это у вас тут... стреляют? — строго спросил он.

— Да это шпион, — с досадой сказал директор. — Третьего дня шли наши рабочие, и вдруг видят: сидит он и молоко пьет. Они побежали за ним, а он в творог залез.

— В какой творог? — удивился Брошкин.

— А у нас на четвертом дворе триста тонн творога лежит. Так он в нем до сих пор и лазает.

Тут подъехала машина, и из нее вышли подполковник Майоров и шестеро лейтенантов. Брошкин четко доложил обстановку.

— Надо брать, — сказал Майоров.

— А как вы найдете его? — поинтересовался директор.

— Творог вывозить! — приказал Майоров.

— Так ведь тары нет, — сокрушенно сказал директор.

— Тогда будем ждать, — предложил Брошкин, — Проголодается — вылезет.

— Он не проголодается, — сказал директор. — Он, наверное, творог ест.

— Тогда будем ждать, пока весь съест, — вздохнул Брошкин.

— Это будет очень долго, — сказал директор.

— Мы тоже будем есть творог, — улыбаясь, сказал Майоров.

Он построил своих людей и повел их на четвертый двор; там они растянулись шеренгой у творожной горы и стали есть. Вдруг увидели, что к ним идет огромная толпа. Впереди шел пожилой рабочий в очках.

— Мы к вам, — сказал он, — в помощь. Сейчас у нас обед, вот мы и пришли...

Валерий Попов

— Спасибо, — сказал Майоров, и его строгие глаза потеплели.

Дело пошло быстрее. Творожная гора уменьшалась. Когда творога осталось килограмм двадцать, из него выскочил шпион. Он быстро сбил шестерых лейтенантов. Потом побежал через двор. Брошкин бежал за ним. Никто не стрелял. Все боялись попасть в Брошкина. Брошкин не стрелял, боясь попасть в шпиона. Стрелял один шпион. Вот он скрылся в третьем дворе. Брошкин скрылся там же. Через минуту он вышел назад.

— Плохо дело, — сказал Брошкин, — теперь он в масло залез.

Рассказ озадачил меня. Чтобы разобраться в нем (а заодно и в себе), я подсунул его моему приятелю Феликсу, редактору нашей стенной факультетской газеты «Интеграл». И даже перепечатал с рукописи в машинописном бюро. Такое разрешалось.

— В другой жизни! — сказал Феликс, возвращая мне текст.

— Почему? У нас же в стенгазете полно хохм!

— Таких у нас в газете не будет никогда! — произнес он громко и четко (возможно, в расчете на прослушивание?).

— Ну зачем так уж «никогда»? Откуда мы знаем будущее? — сказал я, тоже по возможности четко.

— ...Ну ладно! Оставь! — сказал он, минуту подумав. — Посмотрим, что можно сделать.

Рассказ я увидел сразу у нескольких однокурсников, во время лекции. Так я впервые столкнул-

ся с ксероксом-размножителем. Но сначала это не испугало меня. И напрасно. Волновало другое: как читают? Смеются? Наверное, это хорошо? Но, говорят, нельзя так распространять?

— А тебе-то что? — грубо ответил Феликс, когда я спросил. — Фамилии-то твоей там нет!

— А почему, кстати?

— Ты что? В тюрьму захотел?

— А ты? — спросил я.

— Думаю, что у тебя шансов все-таки больше! — усмехнулся он.

Вот так произошла моя первая публикация. Между сумой (или суммой?) — и тюрьмой. Но все-таки я был горд. Товар-то пошел. Хотя и без моего имени. Но все уже знают, подмигивают.

Ко мне подошел комсорг нашего курса Рувим Тойбин.

— Ну что, золотая молодежь? Будем работать?

— Да я уже работаю как могу.

— Не за той славой гонишься.

— Так скажи мне, за какой надо. Я тут же и погонюсь. Слава — дело хорошее.

Он заскрипел своими железными зубами.

— Политинформацию проведешь. Вот и увидим твое лицо!

— Ты математику-то пересдал? — вырвалось у меня.

— Неважно! — прохрипел он. — Речь сейчас не о том!

— Мне кажется, мы как раз в этих стенах для этого.

Валерий Попов

— Прежде всего мы коммунистами должны стать!

— Ладно. Такая тема устроит тебя: «Киров в учебе как пример для нас»?

Уж Киров, считал я, не подведет — с детства сохранил эту веру.

Давненько я не бывал у Фаины Васильевны! Теперь — даже не сразу нашел. Оказывается, они переехали в шикарный дом на Кировском же проспекте, заняв настоящую квартиру Кирова, где он жил.

И она вдруг озадачила меня.

— Думаешь, надо?

— Но он же учился! — вскричал я.

— Ну, тогда читай... Вот это будет твое место.

Сотрудники музея по воспоминаниям современников Кирова, а также по документам восстановили всю его жизнь! По несколько папок за каждый год...

Детей из низших слоев общества, малообеспеченных, в училище было много. В институты их не брали, поскольку гимназию они не закончили. Да их бы туда и не приняли. Для них — низшее техническое училище. (Где преподавание и воспитание, надо сказать, было отменным.) Больше всех из учеников страдал Сережа Костриков, будущий Киров. Ел крайне скромно или вообще голодал. Со второго класса, когда

уржумские попечители перестали платить за него, он был вынужден зарабатывать деньги на учебу и пропитание, сам став учителем богатых детей. Общество вспомоществования иногда помогало ему, но нерегулярно. При переходе из второго в третий класс педсовет училища присудил ему награду за успехи. Интерес Сергея к науке, к знаниям был неисчерпаем, он старался полностью освоить тот предмет, который его интересовал. Малейший дефект в чертеже заставлял Сергея переделывать его заново. Когда надзиратель составил список к освобождению от платы за обучение, Сергей попросил заменить себя в списке товарищем более бедным, по его мнению.

Вот воспоминания преподавателя Жакова:

«Сергей страдал малярией. И вот среди уроков я наблюдал, как он, скорчившись, перемогаясь от приступа малярии, сидит за партой и продолжает внимательно слушать объяснения преподавателя.

Я организовал экскурсию в Зеленый дол и на Паратский судоремонтный завод зимой 1903 года. Собрались на вокзале. Сергей был изможденный, дрожащий. Я решил отправить его домой: одет он был явно не по-зимнему — поношенная легкая шинель служила ему и лето и зиму. Но он не захотел лишаться интересной экскурсии, ссылаясь на то, что малярия дело привычное, а экскурсия редкость. Когда вернулись в Казань, Сергей настолько ослабел, что его пришлось отвезти на квартиру на “барабусе” — так назывались воз-

Валерий Попов

ницы на крестьянских розвальнях. Оставалось поражаться его неисчерпаемому запасу энергии».

Вот тут бы мне и прерваться. Для политинформации вполне достаточно. «Вот вам пример, как надо учиться! И от кого! От нашего вождя». Финиш! Но у меня кипела душа. За что же его, в конце концов, убили?

И я, не удержавшись, стал читать дальше... На каникулы из Казанского технического училища он приехал в Уржум. В Казани он дружил со студентами из Уржума, и все они были революционерами. И даже те, кто были приняты в лучшие вузы, считали необходимым уничтожить этот строй. Их ссылали, но они и в ссылке жили весело и дружно, уверенные, что революция — самое важное, что может быть. Когда читаешь про то время, кажется, что все студенты только этим и занимались. Быть не революционером было даже неприлично — значит, ты за «охранку» и за царя, продажная шкура! Вот такая «диктатура свободы». Даже не знаю, хотел бы я учиться тогда?

Воспоминания уржумской соседки. К ней вошел вдруг молодой симпатичный мужчина, волосы гладко зачесаны назад — сразу и не узнала. «Сергея, ты?» — «Я. Можно я оставлю пока у вас мой портфель? Спрячьте куда-нибудь до вечера». Зная уже «своих» ссыльных, которые жили у нее, соседка понимала, что в портфеле. Запрещенка! Могут и посадить. И Сергей понимал, что она это понимает, и тем не менее — «вежливо попросил»!

Вот тебе и «деликатный Сережа»! Раньше, когда она приносила им, голодным детям, хлеб, — ужасно смущался, переживал: «Не хотите ли квасу — у нас квас очень вкусный!» А теперь — подставляет соседку с доброй улыбкой и безо всякого смущения! То, что нормальным людям нельзя, революционер делать обязан! С этого и началась трагедия, считаю я.

Вот этой фразой я и закончил политинформацию. И добавил еще: «Так что учитесь, ребята! Это самое лучшее!»

— Так, а Киров учился или нет? — донесся из зала простодушный, а на самом деле — коварный вопрос.

Только что мы говорили о его прилежании. Пришлось уточнить....

Закончив Казанское низшее техническое училище — и снова с отличием, — Сережа приехал в Томск. Только там были курсы, готовящие к поступлению в высшие учебные заведения выпускников низших заведений... как Казанское техническое. Но оказался Сережа не в высшем заведении — а в тюрьме! Сергей подружился с рабочими-печатниками, изготовлявшими прокламации. Вышли на «вооруженную демонстрацию», стреляли в полицейских и казаков, разгоняющих демонстрацию, и были жертвы с обеих сторон... «В тюрьме он тоже, конечно, занимался! — добавил я. — Но уже исключительно марксизмом-ленинизмом!»

Это был как раз наш нелюбимый предмет. В зале послышались смешки.

— Прекратить! — звонко выкрикнул Рувим. — Так какой пример подает нам великий Киров? — он повернулся ко мне.

— Пример, я считаю, опасный! — произнес я. Раз уж разжег тему, надо отвечать самому. — Сам Киров с восторгом вспоминает в своих мемуарах, как он вытащил через окно училища печатный станок — собственность училища, который, впрочем, сделал он сам, проявив больше технические и организационные способности. И он имел на это право! И даже был обязан как революционер! И на станке стали печатать листовки, призывающие к свержению строя через... поражение России в Русско-японской войне! Вы бы сейчас такое сделали? — обратился я к залу.

— Да нет... Зачем? — послышались возгласы.

— Вот и не делайте! — сказал я.

Но чего-то не хватало мне как начинающему литератору. И я добавил:

— В подвале нашего вуза тоже стоят станки — токарный и фрезерный, на которых мы проходили практику. Но мы не будем их красть. Сейчас эпоха другая. Так что будем учиться на хорошо и отлично. А станки использовать в мирных целях!.. А в вуз Киров так и не поступил!

— А в тюрьме заочного отделения разве не было? — выкрикнул кто-то.

Зал захохотал.

— Прекратить! — рявкнул Тойбин. — Переходим к комсомольскому собранию. Кто за?

Вразнобой, но подняли руки.

— Я предлагаю первым такой вопрос повестки дня: об исключении, — повернулся к ведущей протокол и диктовал по слогам, — Попова Валерия из комсомола... за антисоветские и антистуденческие выступления! Все, впрочем, протоколировалось. Катюша, вы вели протокол?

— Да! — пискнула Катюша.

— Поэтому я предлагаю — решением нашего комсомольского собрания единогласно (так и сказал — и как в воду глядел) исключить Попова из рядов ВЛКСМ... За антисоветское... и антистуденческое выступление! Кто за?

— Подождите... надо же обсудить! — поднялся Миша, мой друг.

— Вы что-то хотите сказать? — Рувим повернулся к нему.

— ...Нет, — Миша сел.

— Кто-то еще хочет что-то обсудить? — Рувим бреющим взглядом обвел зал. Тишина. Никто не был готов. Если бы я еще кого подготовил! Так нет. «Увлёкси!»

Встал неожиданно в президиуме пятикурсник Коля Окунев, член парткома.

— Я предлагаю все-таки... не калечить парню жизнь! И исключить его из комсомола с формулировкой «за отрыв от коллектива»! Возражений нет?

Оживление в зале! Облегчение! Все сразу заговорили по-доброму: «Ну, за “отрыв” — можно!» «Отрывами» он и верно страдает!.. Как-то игнорировали тот факт, что из комсомола — значит,

Валерий Попов

и из института. Свободы захотел? Покрасовался? Так получи! Зачем же еще увиливать? Ждали, что я чего-то еще скажу. Но я все сказал... что к этому дню подготовил.

Подняли руки. Правда, некоторые при этом опустили глаза... что, несомненно, было фактом проявления гражданского мужества. Все, переговариваясь, выходили из зала. В основном доносились: «А что он думал? Все ему сойдет? Заигрался!» Тут я, пожалуй, согласен. Подошла ко мне только Катюша из комитета комсомола, которая вела протокол:

— Не расстраивайтесь так сразу! Еще райком должен утвердить! Посмотрим.

Как мы мрачно шутили у нас во дворе: «Посмотрим, сказал слепой!»

Райком комсомола Петроградского района находился в улочке, наискосок от Музея Кирова, и я на ходу поглядывал туда. Если что — принесу документы, подтверждающие мой доклад. Там еще много неопубликованного!.. Так что неприятностей мне хватит надолго. Тут я усмехнулся. Бодрил себя. Вон мой друг Тойбин шпарит по другой стороне. Наверное, по моей шел, но перешел. О! Мороженое! Может, съесть стаканчик... пока я еще студент. Возможно, через какой-то час я буду уже не студент. И оно покажется горьким... Восхитительно оно. С сожалением с ним расстался при входе в райком.

Роскошное здание. Типичный для Петроградки купеческий модерн. В последний раз заходишь

туда. Полюбуйся! Прошел внутрь... никто не оставил, не спросил. А я уже вопрос подготовил вежливый: «Скажите, пожалуйста, а где здесь включают?» Можно даже идиотского восторга добавить. Почему нет? Одна гуляем! Так не у кого спросить!

Открыл красивую дверь... Да! Мероприятие такое ведется! За столом президиума сидели люди (ну, а кого же ты ждал?). Но, самое поразительное, в самом центре, под знаменем, распластанным по стене, сидел... человек, который мне действительно важен, вот если он скажет — а говорить будет, видимо, он... то, значит, все правильно. Так мне и надо. Ему поверю. Юра! Мой дворовый кумир! На которого я так мечтал быть похожим... Вот не ожидал, что так будет серьезно — в смысле, для моего самочувствия. Во — сводит жизнь! И, видимо, правильно. Он даже не глянул на меня... что наполняло меня дурными предчувствиями. Я совсем упал духом. Юра будет меня исключать. А так на меня надеялся! Прямо мне это говорил. Но вышло не то, на что он надеялся! А почему? Мне кажется — я все правильно делал. Я поднял глаза. Но Юра разговаривал с сидящими с ним с какой-то кислой улыбкой... Так это он, может, делает не то?.. Красная скатерть! Из такой шаровары у меня были! Может быть — рассказать? Во-во! Еще и госпитализируют! Юра наконец-то поднял свои голубые глаза... Ледяные! А ты чего ждал?

— Итак, — тусклым, скучающим голосом заговорил (спасибо, что без вдохновения). — рассмат-

Валерий Попов

ривается вопрос... — значительные паузы всегда умел держать, — ...об утверждении исключения из рядов ВЛКСМ, — как-то скороговоркой, мне стало даже обидно, мог бы торжественней, — ...студента первого курса ЛЭТИ Валерия Попова.

Как сиротливо тут прозвучали звуки моего имени!

— Райком комсомола Петроградского района... такого-то числа (так и произнес — «такого-то») на своем заседании рассмотрел предложение комитета комсомола первого курса физического факультета ЛЭТИ об исключении Валерия Попова из рядов ВЛКСМ...

Зачем то же повторять?!

А ведь он когда-то хвалил меня!

— Из текста представленного протокола, — чуть оживленней заговорил, — нам абсолютно не ясно, в чем состоит вина исключаемого, в чем именно он нарушил устав ВЛКСМ. Райком комсомола Петроградского района не посчитал убедительными обоснования и не утвердил исключение из комсомола студента ЛЭТИ Валерия Попова. Председателю комитета Тойбину Рувиму выносятся порицание за необоснованное обвинение. Всё!

Он захлопнул грессбух и, так и не глянув на меня, ушел в маленькую дверку.

Я сразу не понял... Не исключили, что ли? Вот это да!

«...А куплю-ка я себе эскимо!» — решил сразу. Купил. Вкус тот же! И даже еще вкуснее! Ура.

— Рубани! — сказал кто-то рядом со мной. Это был Юра. Так говорили мы, когда кто-то выходил во двор, бахвалясь съедобным.

— Кусни! — я протянул ему эскимо.

Рувим с той стороны улицы смотрел с ужасом, как первый секретарь Петроградского райкома ВЛКСМ откусывает от моего эскимо. Поймав взгляд Рувима, я пожал плечом: «Что делать? Отказать невозможно».

Тут уже накинудись на меня друзья, которые, оказывается, были рядом.

Медленно, порой мучительно, но процесс морального выздоровления пошел. Как? Я и говорю — «мучительно». Мы с друзьями решили связать себя узами брака, создать семьи. Но произошло это после суровых испытаний, которые необходимо было пройти. Жизнь преподнесла нам урок!

...Недавно, проезжая по Кольскому полуострову в печали (все было занавешено пургой), я вспомнил вдруг, что когда-то здесь было довольно весело. Хибины были (не знаю, как сейчас) наимоднейшим местом, сюда съезжались покрасоваться лучшие люди Питера и некоторых других городов — успешные, спортивные, элегантные, веселые — и безоглядные, как мы. Весь мир был у наших ног — как та сияющая снегом гора. Безоговорочно веря в свое всемогущество — загорелые, гибкие, каждый мускул звенел, — мы съехали однажды с друзьями вчетвером вниз на лыжах и решили продолжить путь в поисках необычных

приключений (обычными мы были уже пресыщены). Внизу оказалось темновато. К тому же разыгралась пурга!

Наконец, мы выбрались на глухую улицу. Почта, родная до слез, с голубенькой вывеской. «Надеюсь, почтальонша — хорошенькая?» — высокомерно подумал я... Как же! Старуха. И даже — две. И тут работал некий телепатический телефон? — вскоре появились еще две, ничуть не краше. Их стало вдруг четверо... как и нас! К чему бы это?

Хихикая, они сели на скамейку напротив, как на деревенских танцах. Потом появилась вдруг горячая кастрюля пахучего зелья, в котором путались какие-то травы, но которое тем не менее мы почему-то принялись жадно пить. Вскоре я стал замечать, что мы сделались довольно неадекватны — хохотали, расстегивали рубахи. Опоили нас? Вдруг Слава, мой ближайший друг, взмыл в воздух. От зелья шел пар — видно плохо. Но я успел разглядеть, что самая маленькая, коренастая — настолько маленькая, что почти не видно ее, — вскинула моего ближайшего друга на плечо и куда-то понесла. Зачем? Догадки были самые страшные — и, увы, почти оправдавшиеся. Руки-ноги его безвольно болтались... а ведь сильный спортсмен!

— Вячеслав! — вскричал я.

Но тут и сам неожиданно взмыл в воздух. Куда это я лечу? Хоть бы одним глазком увидеть, кто меня несет? Может — хорошенькая?.. Но вряд ли. Кроме вьюги и завывания ветра, я ничего не видел и не слышал. Наконец, прояснилось. Но

притом — испугало... Совсем другая изба, значительно более бедная, чем даже почта... Окоченел я без движения, на морозе задубел — и, как бревно, тяжело был сброшен возле печи. Сожгут меня, как полено? Ну и пусть. Воля моя была почти парализована зельем. Наконец-то я разглядел мою похитительницу... Суровая охотница, на крупного зверя. Себя почему-то не представлял в роли жертвы. Напрасно!.. Воображение мое тоже, видимо, было парализовано. Она появилась в белой длинной рубашке, похожей на саван. Я задрожал. Видимо, начал отогреваться. Хозяйка моя вдруг полезла в раскаленную русскую печь через узенькую дверцу. Зачем? Потом я вспомнил из рассказов отца, что в русской печи не только готовят, но и моются... Но с чего ей вдруг примерещилось — мыться? И, как вскоре выяснилось — в интересной компании. Вдруг из печной тьмы высунулась костлявая ладошка и поманила меня. Я замер.

Кто-то стучал в заиндевелое окно... лыжей! — разглядел я. Иннокентий махал ладонью куда-то вдаль.

— Уходим! — понял я.

Спасибо ему.

Сдвинул набухшую дверь — и в пургу. Лучше замерзнуть! Мы, дрожа, собрались на площади. Или это был широкий такой перекресток?.. Ушли?

— Моя бежит! — вдруг закричал я.

Она неслась в белой рубашке, как маскхалате, с каким-то длинным предметом в руке. Ружье? Ну это как-то уж слишком!

Валерий Попов

— Валим! — скомандовал Иннокентий.

Из соседних улиц выскочили и остальные амазонки, с разными, преимущественно недружелюбными, предметами — и криками.

Уже и выюга нам была не страшна! Обмерзшими и какими-то молчаливыми мы вскарабкались на гору, на нашу базу...

Как и положено у русских людей — последовал долгий мучительный самоанализ, переоценка ценностей. Мы поняли, что дальше катиться нам некуда: предел!

По возвращении в город Вячеслав, Михаил, Иннокентий и я сразу же женились на своих девушках, которым столько уже лет до того морочили голову, а Иннокентий к тому же вступил в Коммунистическую партию, а затем разбогател. Так что и политика порой приносит плоды.



Павел
Басинский

Горький

Страсти
по Максиму



лауреат премии
БОЛЬШАЯ
КНИГА



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

*Человек — это переход и гибель.
Ницше. Так говорил Заратустра*

“В пустыне, увы, не безлюдной”

После Казани Пешков побывал в Красновидове, окрестных деревнях и дрался с мужиками, которые подожгли лавку народника Ромаса, затем батрачил у тех же мужиков. Когда батрачить надоело, он через Самару на барже отправился на Каспийское море и работал на рыбном промысле Кабанкулбай. По окончании путины пешком через Моздокские степи пришел в Царицын. Устроился работать на станции Волжская Грязе-Царицынской железной дороги, затем — сторожем на станции Добринка. Перевелся в Борисоглебск. Еще раз перевелся — на станцию Крутая. Все это время продолжал пропагандировать и участвовать в кружках самообразования, за что вновь удостоился полицейского наблюдения.

Именно в этот период Пешков проходит искус “толстовства”, которым в свое время переболели многие крупные писатели: Чехов, Бунин, Леонид Андреев и другие. На станции Крутая с телеграфистами Д.С.Юриным, И.В.Ярославцевым и дочерью начальника станции М.З.Басаргиной он решил организовать земледельческую колонию и был отправлен к Льву Толстому — просить у него кусок земли и денег на хозяйство. Ехал “зайцем”, на тормозных площадках вагонов, а больше шел пешком, оправдывая свою фамилию. Побывал в Донской области, в Тамбовской, в Рязанской губерниях. Так и дошел до Москвы.

Но до этого он посетил Ясную Поляну в надежде найти Толстого. Его там не было, он уехал в Москву. Но и в Москве, в Хамовниках, Толстого не оказалось. По словам Софьи Андреевны, он ушел в Троице-Сергиеву лавру. Известно, что наговорил жене великого писателя никому не известный Пешков, но Софья Андреевна, хотя и встретила долговязого просителя ласково и даже угостила кофеем с булкой, как бы между прочим заметила, что к Льву Николаевичу шляется очень много “темных бездельников” и что Россия вообще “изобилует бездельниками”.

Пешков расстроился и ушел.

Но прежде Алексей оставил письмо Толстому. Письмо поражает дремучей провинциальной наивностью. И в то же время трогает, ибо за этим письмом стоит не только он, а целая группа растерянных молодых людей, одуревших от уездной скучной и бессмысленной жизни, с жарой, холодом, завыванием вьюги в степи и однообразным свистом сусликов, беспробудным пьянством и бесконечными сплетнями. Скуки, от которой хочется повеситься и которая способна сделать из людей завистливых и беспощадных циников. Вспомните горьковский рассказ “Скуки ради”, где именно от скуки, ради развлечения работники станции доводят Арину до самоубийства. А молодые люди одержимы жаждой деятельности. Они хватаются за Толстого как за соломинку. Молодым людям невдомек, что таких, как они, по России великое множество. И все эти люди уже порядком надоели Толстому. А его жене еще больше.

25 апреля 1889 г., Москва

Лев Николаевич!

Я был у Вас в Ясной Поляне и Москве; мне сказали, что Вы хвораете и не можете принять.

Порешил написать Вам письмо. Дело вот в чем: несколько человек, служащих на Г<рязе>-Ц<арицынской> ж<елезной> д<ороге>, — в том числе и пишуший к Вам, — увле-

ченные идеей самостоятельного, личного труда и жизнью в деревне, порешили заняться хлебопашеством. Но, хотя все мы и получаем жалованье — рублей по 30-ти в месяц, средним числом, — личные наши сбережения ничтожны, и нужно очень долго ждать, когда они возрастут до суммы, необходимой на обзаведение хозяйством.

И вот мы решили прибегнуть к Вашей помощи, у Вас много земли, которая, говорят, не обрабатывается. Мы просим Вас дать нам кусок этой земли.

Затем: кроме помощи чисто материальной, мы надеемся на помощь нравственную, на Ваши советы и указания, которые бы облегчили нам успешное достижение цели, а также и на то, что Вы не откажете нам дать книги: “Исповедь”, “Моя вера” и прочие, не допущенные в продажу.

Мы надеемся, что, какой бы ни показалась Вам наша попытка — достойной ли Вашего внимания и поддержки или же пустой и сумасбродной, — Вы не откажетесь ответить нам. Это немного отнимет у Вас время. Если Вам угодно ближе познакомиться с нами и с тем, что нами сделано к осуществлению нашей попытки, двое или один из нас могут прийти к Вам. Надеемся на Вашу помощь.

От лиц всех — нижегородский мещанин

Алексей Максимов Пешков

Итак, он всего лишь просил у Толстого земли и денег на обустройство на его же графской земле. Еще просил, чтобы снабдил их книгами, которые запрещены к распространению и за которые графа через несколько лет отлучат от церкви. Наконец, он просил хотя бы ответить им письмом (“это немного отнимет у Вас время”), не понимая, что подобных “хотя бы ответов” ждали от писателя сотни людей.

Например, ждала ответа от Льва Толстого гимназисточка из богатой киевской семьи — Лидочка, будущая жена философа Н.А.Бердяева. Ей казалось безнравственным жить

в роскоши и процветании, когда страдает народ, и она решила уйти из семьи и пойти на акушерские курсы. Тогда многие девушки рвались на акушерские курсы. Толстой ответил Лидочке, что делать добро можно и в своей социальной среде, для этого вовсе не обязательно убежать от родителей. Лидочке этого показалось мало. Она написала графу еще одно письмо, на которое Толстой ничего не ответил.

Толстой задыхался от нашествия “толстовцев”. “Толстовские” коммуны стали появляться с 1886 года, и отношение к ним графа было скорее отрицательным. В работе “Так что же нам делать?” он писал: “На вопрос, нужно ли организовывать этот физический труд, устроить сообщество в деревне, на земле, оказалось, что все это не нужно, что труд, если он имеет своею целью не приобретение возможности праздности и пользования чужим трудом, каков труд наживающих деньги людей, а имеет целью удовлетворение потребностей, сам собой влечет из города в деревню, к земле, туда, где труд этот самый плодотворный и радостный. Сообщества же не нужно было составлять потому, что человек трудящийся сам по себе естественно примыкает к существующему сообществу людей трудящихся”.

Толстой на письмо Пешкова не ответил. Что он мог? Еще раз посоветовать молодежи “делать добро”? На забытой Богом степной станции, где единственным событием являются короткие остановки пассажирских поездов, которые с поэтической и безнадежной тоской описал Александр Блок:

Три ярких глаза набегающих,
 Нежней румянец, круче локон.
 Быть может, кто из проезжающих
 Посмотрит пристальной из окон?

Посоветовать молодым людям бросить работу, родителей и садиться “на землю”? Но только не на его, толстов-

скую, землю. Потому что Толстой, по признанию его дочери Александры, не любил “толстовцев”.

Что он мог ответить?

К тому же в письме... не было обратного адреса. Его-то молодой “толстовец”, делегированный в Москву со станции Крутая, почему-то забыл указать. Может, он был на конверте? Но в то время было не принято писать на конвертах обратные адреса.

Через несколько лет Софья Андреевна на письме Пешкова сделала пометку: “Горький”. Тем самым существенно повысила корреспонденцию в ее статусе. Пока же долговязый проситель уезжал в родной Нижний Новгород в вагоне... для скота. И можно ни секунды не сомневаться, что он на всю жизнь запомнил этот отъезд. Помнил о нем и когда впервые встречался с Толстым. Граф разговаривал с ним нарочито грубовато, с матерком — из народа же человек! И когда писал пьесу “На дне”. И когда истинно по-рыцарски защищал Софью Андреевну от желтой прессы, травившей ее после ухода и смерти мужа. И когда создавал свой очерк-портрет Льва Толстого, где высказал о нем все самое восторженное и наболевшее в собственной душе.

Пешков хотел организовать коммуну только для того, чтобы “отойти в тихий угол и там продумать пережитое”. Пережитое — это Казань и Красновидово, где он возбуждал крестьян речами о лучшей жизни. Он, потерявший смысл этой жизни, едва не убивший себя физически и раздавленный душевно. Описание красновидовской жизни — самое смутное место в “Моих университетах”. И самое, надо признаться, скучное. Как и повесть “Лето”, написанная раньше по тем же воспоминаниям. И какой дымный, угарный конец! Сожгли избу Ромаса с книгами. Ромась уехал из Красновидова. Алексей остался на распутье. Смерть не удалась ему. Жизнь тоже не удалась.

Возникает какой-то крестьянин Баринов, “с обезьяньими руками”, из той породы людей, которым не сидится

на одном месте. Положим, и Пешков такой же. Но Пешков ищет истину, а Баринов просто проживает жизнь. Без цели, без смысла. Когда Ромась уехал, Пешков жил у Баринова в бане (добавим: “с пауками”). Баринов сманил его на рыбные промыслы и там надоел ему смертельно, так что Алеша бежал от него в Моздок.

Этот Баринов, которого Илья Груздев метко называет “народным Хлестаковым”, предтеча князя Шахро из рассказа “Мой спутник”. Баринов подбивал Пешкова бежать в Персию, благо Персия была рядом с рыбными промыслами. А Персия, если вспомнить “В людях”, была не просто заветной мечтой Алексея, но и единственной в его подростковом сознании альтернативой поступлению в университет.

Таким образом, Баринов стал очередным искусителем Пешкова после Смурога, Евреинова и отчасти Ромася. Но обратимся к Ромасю.

В прозе Горького он предстает настоящим народником-революционером, который поддержал Пешкова в период духовного отчаяния. В “Моих университетах” он выступает под кличкой Хохол.

“В конце марта, вечером, придя в магазин из пекарни (это уже после попытки самоубийства. — П.Б.), я увидел в комнате продавщицы Хохла. Он сидел на стуле у окна, задумчиво покуривая толстую папиросу и смотря внимательно в облака дыма.

— Вы свободны? — спросил он, не здороваясь.

— На двадцать минут.

— Садитесь, поговорим.

Как всегда, он был туго зашит в казакин из «чертовой кожи», на его широкой груди расстилалась светлая борода, над упрямым лбом торчит щетина жестких, коротко остриженных волос, на ногах у него тяжелые, мужицкие сапоги, от них крепко пахнет дегтем.

— Ну-те-с, — заговорил он спокойно и негромко, — не хотите ли приехать ко мне? Я живу в селе Красновидо-

ве, сорок пять верст вниз по Волге, у меня там лавка, вы будете помогать мне в торговле, это отнимет у вас не много времени, я имею хорошие книги, помогу вам учиться — согласны?

— Да”.

В этом отрывке Ромась предстает как спаситель Алексея, который после попытки самоубийства был вынужден вернуться к Деренкову, в булочную, к пекарям и студентам, то есть на тот же самый круг бесплодных духовных исканий, который привел его к попытке самоубийства. И сама внешность Ромася напоминала сказочного богатыря: “Он ушел не оглядываясь, твердо ставя ноги, легко неся тяжелое, богатырски литое тело”. За этим не сразу обращаешь внимание на “чертову кожу” и “упрямый лоб”, а также на то, что Хохол словно с неба свалился на Алексея или, напротив, выскочил, как черт из преисподней. Он сочетает в себе черты и ангела-спасителя, и змия-искусителя, который зовет Пешкова отведать неизведанного.

Фотография Ромася, сделанная в шестидесятые годы, ничего особенного не отражает. Типичная внешность нигилиста-шестидесятника, “базаровца”, с твердым, холодным и весьма неприятным взглядом из-за классических “чернышевских” круглых очков. Борода, коротко стриженные усы, высокий и в самом деле упрямый лоб.

Что пропагандировал Ромась в Красновидове? Из “Моих университетов” ничего понять нельзя. Зато понятно, что местные богатые мужики Хохла очень не полюбили, потому и подожгли его лавочку — “прикрыли” ее. И вот что интересно. Отношение к этому событию Алеши — шок! Сцена пожара описана в апокалиптических тонах. Это событие страшно повлияло на отношение будущего Горького к мужику. Он снова раздавлен, снова в духовной пустыне. Народ его ожиданий (то есть того, что обещал Ромась) не оправдал. И снова максималист Пешков переносит это злое чувство на “людей”. Не любит он “людей”! Не удались, Бог с ними!

“Не умею, не могу жить среди этих людей. И я изложил все мои горькие думы Ромасю в тот же день, когда мы расставались с ним”.

Что же Ромась? Он... совершенно спокоен.

— Преждевременный вывод, — заметил он с упреком.

— Но — что же делать, если он сложился?

— Неверный вывод. Неосновательно. Не торопитесь осуждать! Осудить — всего проще, не увлекайтесь этим. Смотрите на все спокойно, памятуя об одном: все проходит, все изменяется к лучшему. Медленно? Зато прочно! Заглядывайте всюду, ощупывайте всё, будьте бесстрашны, но — не торопитесь осудить. До свидания, дружище!”

Еще один учитель расстался с ним, ничему его толком не научив, а только внушив, что мир не так прост. Но то же говорил ему колдун Смурый на пароходе о книгах: не понял книгу, читай еще раз! Снова не понял — еще раз читай! Семь, двенадцать раз прочитай, пока не поймешь! И расставались они с Ромасем тоже на пристани. Ромась — вверх по Волге, в Казань. Алексей — вниз, в Самару и Царицын.

Они встретились через тринадцать лет, из которых восемь лет Ромась провел в заключении и ссылке по делу “народоправцев”. Ромась был настоящий железный революционер. “Редкой крепости машина”, — писал о нем Горький К.П.Пятницкому. Иногда горьковские определения людей при удивительной точности бывали также поразительно двусмысленны. Например, свою невестку Надежду Алексеевну, красавицу Тимошу, за ее сдержанный, молчаливый характер он назвал в одном из писем “красивым растением”.

“Редкой крепости машина” не увлек Пешкова за собой в якутскую ссылку. Но именно он женился на сестре Андрея Деренкова, Марье, в которую был влюблен Алексей. Марья страдала каким-то нервным заболеванием и была крайне ранимым и добрым существом. “За Ромася, — впоследствии писал Горький Груздеву, — она вышла замуж, конеч-

но, «из милости», по доброте души, как я *теперь* понимаю». Марья была моложе Ромаса почти на десять лет. «Была она маленькая, — писал Горький, — пухлая, голубоглазая и — невиннее птицы зорянки». В «Моих университетах» ее образ несколько иной: своенравна, любила провоцировать Алексея, подшучивать над юношей. Но и из «Моих университетов» видно, что это было милое, слабое и незащищенное существо. Головная боль для брата. И вот ее-то «редкой крепости машина» не смутился позвать за собой.

О скитаниях Ромаса пишет Илья Груздев в книге «Горький и его время». Он также показан в рассказе В.Г.Короленко «Художник Алымов» под именем Романыча. Романыч в рассказе Короленко изображен в момент посадки на пароход вместе с девушкой Фленушкой, в которой легко угадать Марью. Вот как описывает Ромаса-Романыча писатель: «Образования нигде не получил, а между тем читал Куно Фишера, Спенсера и Маркса и обо всем, о чем мы сейчас говорим с вами и еще будем говорить, во всей этой игре ума может легко принять участие на равных правах. Но... пишет плохо, с ошибками, и в конторщики, например, не годится... настоящий представитель бродячей интеллигенции, вышедшей из народа... Судьба наполовину переписала его, да так неотделанным и пустила. Ищи своего места, бедняга...»

После пожара в лавке Ромась остался весь в долгах, что не помешало ему жениться на Марье. Несколько лет Ромась мыкался в поисках денег и работы, но его революционное прошлое и крайне неуживчивый характер не позволяли получить ни то ни другое. В сентябре 1888 года (сразу после женитьбы) он пишет Короленко: «Видите, в чем дело, на мне лежит много долгу, который на меня давит, вы этого состояния не понимаете, потому что ваше положение и мое две разные вещи. Вы с определенным положением, а я?»

А его жена?

Короленко хлопотал через писателя Евгения Чирикова, чтобы устроить Ромася на той же Грязе-Царицынской железной дороге, где Пешков получил место сторожа. Но Ромася носит по стране как перекаати-поле. То он пишет Короленко из Иркутска, а то из Саратова, где находился один из пунктов революционной организации “Народное право”. В 1894 году он арестован в Смоленске и затем провел восемь лет в тюрьме и якутской ссылке. После возвращения устроился кладовщиком в городке Седлеце на строящейся железной дороге. О своем бывшем приказчике в лавке Пешкове, уже ставшем знаменитостью, Ромась писал Короленко без особой симпатии:

“С Горьким у меня переписка, захотелось мне прочесть его Мещан, я, не нашовши (так у автора. — П.Б.) здесь в продаже, обратился к нему. Он прислал мне чувствительное письмо, предложил книг. <...> Ничего, Максимыч в письмах без приложения гениальности проявляется. Выглядит сдаточным, дослужившимся до генерала...”

Ирония тут прозрачна. “Сдаточный” — это солдат из рекрутов, сданный помещиком или крестьянским миром вне очереди обычно за какую-то провинность — драку, пьянство или воровство.

Горький сам отправился навестить Ромася в Седлеце. О встрече с ним Ромась пишет Короленко: “Всё расспрашивал о вас у Максимыча, и ничего не вышло. Он на бумаге помалявует (так у автора. — П.Б.), а на словах тот же грохало, как я его знал на Волге...”

Обиду Ромася можно понять. Горький не сидел подолгу в тюрьмах, не жил бесконечными зимами с якутами. Стартовые условия у него и Ромася были равные, даже, пожалуй, у Ромася они были более прочными ввиду общей зараженности интеллигенции революционной модой. И Ромась, как и Пешков, что-то пописывал. И вот какая несправедливость!

Со всех мест работы Ромася быстро выживали. Он не умел ладить с людьми, а тем более с начальством. По-

сле Седлеца он объявлялся то в Кишиневе, то в Севастополе, то в Чернигове, то в Мелитополе. К тому времени у него была другая семья: больная жена, четверо ребятишек и слепая старуха-мать. Вынужденный постоянно занимать где-то деньги, Ромась страдал ужасно.

Настоящим его призванием были тюрьма и ссылка.

Не наше дело кого-то судить, но жизнь всё расставила по своим местам. Пешков не стал железным революционером. Марья Деренкова развелась с Ромасем перед его ссылкой, пережив какую-то личную драму. При встрече с Горьким в 1902 году на его вопрос: “Где Маша?” — Ромась ответил с подлинно революционным хладнокровием: “Кажется, умерла”.

Она прожила долгую жизнь подвижницы в глухом селе Макарово Стерлитамакского уезда в Башкирии, работая акушеркой и фельдшерницей. В 1931 году, через год после смерти Деренковой, местный башкирский работник отвечал на запрос Горького о судьбе Марьи: “Макарово — небольшое селение верстах в 30 от г. Стерлитамака, в довольно глухом углу, населенном бедной, малокультурной мордвой... В этом селении М.С. проработала и прожила почти всю свою одинокую жизнь, обслуживая медицинской помощью и работая большею частью самостоятельно, так как врачей в такие глухие углы залучить было трудно. Население довольно большой округи ее хорошо знало. Имя М.С. приходилось слышать постоянно. О прошлом М.С. не любила говорить, и мало что приходилось от нее слышать... Только когда появились «Мои университеты» и к ней стали обращаться с вопросами, не о ней ли идет речь, она кое-что рассказала о своей жизни, но и здесь не была особенно таровата; иногда ей почему-то казалось, что Вы можете быть в Башкирии и, может быть, даже в наших краях... Несмотря на свое слабое здоровье, вечно хлопотала о нуждах обслуживаемого населения, с каким-то удивительным терпением перенося все тяготы работы и жизни в глухих углах.

Три года назад ее работа и служба были отмечены общественностью присуждением ей звания «Герой труда». Скончалась М.С. 24 ноября 1930 года в том же Макарове”.

Известно, что пожилой Горький был легок на слезу. Как же он, должно быть, обливался слезами над этим письмом ответственного башкирского работника, понимая, какого ангела он проморгал в казанской духовной пустыне, отправляясь в село Красновидово за мощным человеком с упрямым лбом, в куртке из “чертовой кожи”!

Впрочем, Марья едва ли могла влюбиться в Пешкова казанского периода, угловатого “умника”. И потом, судьба Горького была не для нее, как и судьба Ромася. Это был глубоко русский тип христианской подвижницы, любящей народ и людей не отвлеченно-рассудочной, а сердечной и деятельной любовью. Горький хорошо чувствовал этот русский тип, высоко ценил его, но он не вполне отвечал его идеалу Человека. “Малые дела” были не по его масштабу.

Плакал или нет Алексей Максимович над письмом башкирского работника, но Илье Груздеву он написал следующие слова: “Вот какую жизнь прожил этот человек! Начать ее среди эпигонов нигилизма, вроде Сомова, Мельникова, Ромася, среди мрачных студентов Духовной академии, людей болезненно, садически распутных, среди буйных мальчишек, каким был я, мой друг Анатолий, маляр Комлев, ее брат Алексей, выйти замуж за Ромася, который был старше ее на 21 год (на 9 лет. — П.Б.), и затем прожить всю жизнь как «житие» — не плохо?”

Для кого этот вопросительный знак? Не для себя ли, уже понимавшего, к какому финалу идет его бурная жизнь?

“Был случай, — писал далее Горький, — мы трое — Алексей, брат ее... Комлев и я поспорили, потом начали драться. Она, увидав это из окна, закричала: «Что вы делаете, дураки! Перестаньте, сейчас ватрушек принесу!» Ватрушки эти обессилили меня и Комлева: мы трое готовы были головы разбить друг другу, а тут — ватрушки. «Умойтесь», — при-

казала она. А когда смыли мы кровь и грязь с наших морд, она дала нам по горячей ватрушке и упрекнула: «Лучше бы чем драться — двор подмели...»

“Влекло меня к людям со странностями...” Вот “странный” человек Баринов. Лентяй, проходимец, как его описывает Горький. Кстати, этимология фамилий Бариновы, Барские, как Князевы, Графовы, восходит к понятиям “барские”, “князевы” или “графовы” крестьяне, а вовсе не к барскому происхождению носителя фамилии. Сергачский уезд отличался слабым местным промыслом и широким отхожим — в летний период. Таким образом, Баринов был одним из мигрировавших летом со скудного русского севера на богатый российский юг (Дон, Украина, Кавказ, Молдавия, Ставрополье) “отхожих” мужичков, с которыми впоследствии, во время странствия по Руси, путешествовал Горький.

В рассказе “Весельчак” Баринов изображен трусом, лентяем и циником. Однако уже в поздние годы Горький писал Груздеву: “Любопытнейший мужик был Баринов, и сожалею, что я мало отвел ему места в книге «Мои университеты»”.

Его всегда тянуло к людям такого сорта. Он симпатизировал артистическим жуликам. Присматривался к ним, и они, в свою очередь, как бы случайно находили его и делали “его спутниками”. Бывали и случаи тяжелые, вроде описанной в очерке о Ленине истории с жуликом Парвусом, растратившим деньги большевиков, пожертвованные Горьким. (Впрочем, и Парвус в очерке описан без злобы, с юмором.) В зрелые годы его восхищали ловкие итальянские мальчишки-извозчики, норовившие надуть своих клиентов.

Загулявший мастеровой по имени Сашка изображен в рассказе “Легкий человек”. В Сашке, баламуте, влюбляющемся во всех девушек подряд, включая монашек, несложно узнать Гурия Плетнева, наборщика типографии, который познакомил Алексея с жизнью казанских трущоб и был арестован за печатанье нелегальных текстов. К таким лю-

дям тянуло Пешкова и потом Горького. Но при этом он понимал, сколь далеки они от Человека.

Напротив, все основательное не нравилось ему. С Бариновым на рыбном промысле они познакомились с семейством раскольников или сектантов, “вроде «пашковцев»”. “Во главе семьи, — писал потом Горький, — хромой старик 83 лет, ханжа и деспот; он гордился: «Мы, Кадочкины, ловцы здесь от годов матушки царицы Елисаветы». Он уже лет 10 не работал, но ежегодно «спускался» на Каспий, с ним — четверо сыновей, все — великаны, силачи и до идиотизма запуганы отцом; три снохи, дочь — вдова с откушенным кончиком языка и мятой, почти непонятной речью, двое внучат и внучка лет 20-ти, полуидiotка, совершенно лишенная чувства стыда. Старик «спускался» потому, что «Исус Христос со апостолами у моря жил», а теперь «вера пошатнулась» и живут у морей «черномазые персюки, калмыки да проклятые махмутки — чечня». Иностранцев он ненавидел, всегда плевал вслед им, и вся его семья не допускала иностранцев в свою артель. Меня старичок тоже возненавидел зверски. <...> Баринов, лентяй, любитель дарового хлеба, — тоже «примостился» к нему, но скоро был «разоблачен» и позорно изгнан прочь”.

И вновь мы имеем дело с особым углом зрения Горького. Ведь семья староверов может быть увидана и совсем иными глазами. Мощный старик, глава семейства, от одного слова или взгляда которого трепещут сыновья, “великаны”, прекрасные работники. Три снохи, которых автор никак не отмечает, наверное, из-за их скромности и незаметности для посторонних. Двое внуков, помогающих отцам, и больная, несчастная внучка, “крест” для большой семьи. Но угол зрения Горького скорее совпадает с углом зрения Баринова, который ему хотя и неприятен, но с которым легко. Как с Гурием Плетневым. Как с бабушкой Акулиной.

С ними легко, а с дедушкой Василием и этой крепкой староверческой семьей... неприятно.

Но главное — нигде нет Человека.

“В пустыне, увы, не безлюдной”.

Эти слова Горький напишет во время революции в “Несовременных мыслях”.

Положительный человек

Встреча с В.Г.Короленко стала для Алексея едва ли не первым опытом общения с позитивным человеком, который стоял неизмеримо выше его и в социальном, и в литературном, и в умственном отношении. Короленко был первым, от кого Пешков не отчалил, как от бабушки, Смурого, Ромаса и других. Он с некоторым изумлением для себя вдруг понял, что существуют на свете люди, которые, не вторгаясь в твою душу, способны *спокойно* тебя поправить и поддержать.

Это еще не Человек. Но и не “люди” в отрицательном смысле. Они как оазисы в духовной пустыне. Напиться воды, омыть душевные раны. И уйти дальше, но набрав с собой воды.

Вернувшись из ссылки в январе 1885 года, Короленко поселился в Нижнем Новгороде, где прожил до января 1896 года.

Нет, все-таки Ромась, бродяжья душа, стал для Пешкова спасителем, а не искушителем! Ромась написал о нем Короленко. Поэтому когда Пешков явился к Короленко с визитом, тот уже знал о нем. Впрочем, и так бы не прогнал. И все-таки важно — всякий провинциальный писатель это хорошо знает и чувствует, — когда о тебе что-то уже знают.

Но прежде представим себе состояние Пешкова, когда он покидал Крутую, направляясь к Толстому.

Во-первых, он опять сжигал за собой мосты. Он взял расчет на станции, строптиво отказавшись от бесплатного билета в любой конец. Во-вторых, с названной выше Басаргиной, дочерью начальника станции, у него что-то было. “Между мной и старшей дочерью Басаргина возникла вза-

имная симпатия...” — писал он позже. А вот с отцом ее отношения были напряженные. В 1899 году Горький переписывался с Басаргиной, жившей уже в Петербурге. “Будете писать Вашим, поклонитесь Захару Ефимовичу. Я виноват перед ним: когда-то заставил его пережить неприятные минуты...” В другом письме к ней того же года он писал: “Я всё помню, Мария Захаровна. Хорошее не забывается, не так уж много его в жизни, чтобы можно было забывать...”

Однако в 1889 году на Крутую он возвращаться не собирался и покидал это место с душой, очередной раз отравленной ненавистью к “людям”. “Уходя из Царицына, я ненавижу весь мир и упорно думал о самоубийстве (опять! — П.Б.); род человеческий — за исключением двух телеграфистов и одной барышни — был мне глубоко противен”.

Вот с каким настроением он пришел просить у Льва Толстого землю. Вот с каким настроением он залезал в вагон для скота, чтобы отправиться в родной Нижний Новгород. Вот с каким настроением он шел к Короленко.

Конечно, настроение временами менялось. Были смутные мечты о коммуне. Было короткое путешествие по центральной России, бескрайние тамбовские черноземы, рязанские леса и Ока, Ясная Поляна. В клеенчатой котомке лежала и грела душу молодого графомана бесконечная поэма, написанная ритмической прозой, под названием “Песнь старого дуба”. От нее до нас дошла одна-единственная строка, но зато какая выразительная: “Я в мир пришел, чтобы не соглашаться!”

С этой-то поэмой он и явился к Короленко. Но прежде Пешков прочитал его замечательный рассказ “Сон Макара”. Рассказ ему не понравился. Это очень важный момент! Он касается уже не биографии Пешкова, но духовной судьбы Горького.

“Сон Макара”, написанный Короленко в ссылке в 1883 году и напечатанный в 1885-м в журнале “Русская мысль”, читала вся мыслящая Россия. Это шедевр Короленко, может

быть, лучшая его вещь, главная для понимания его символа веры. Этот рассказ невозможно читать без сопереживания, если только остались в человеке жалость, жажда справедливости. В то же время он написан очень рационально, как своего рода адвокатская речь на суде. Только это защита не отдельного подсудимого, а всего человечества.

Макар, сын северного народа, видит сон, что он умер и идет на суд к Тойону. Тойон и его слуги судят Макара, взвешивая на весах его грехи и добродетели. Добродетелей мало, почти нет, а грехов — хоть отбавляй! Он и пьяница, и малонер, и обманывал людей. Чаша с грехами быстро опускается вниз, и недалеко минута, когда Макар окажется в аду. Но вдруг он начинает рассказывать Тойону свою жизнь. И оказывается, что в этой жизни не было радости, только ежедневный труд, нужда, мысли о хлебе насущном. Когда ему было молиться и думать о душе своей, когда было совершать добрые дела, если всю жизнь он бился с нуждой, чтобы не умереть с голоду? Неужели справедливо после этого вновь наказывать Макара? И так этот рассказ Макара потряс Тойона, что тот заплакал, и медленно поднялась чаша с грехами. Макар был прощен.

В этом рассказе духовное кредо Короленко. Он судит человека не по внешним требованиям морали и религиозности, а по справедливости. Оправдан не тот, кто формально прав, а тот, кто в заданных ему Богом, природой и обществом обстоятельствах выполнил все, на что способен.

Делай, что должно, и пусть будет, что будет. Это известный девиз Короленко.

“— Почему вы такой спокойный?”

Это Пешков спросил у Короленко во время их второй встречи. Спросил нервно, искренне не понимая этого спокойствия.

“— Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю...”

На самом деле Короленко вовсе не был таким уж спокойным человеком. После революции, в Полтаве, он с pistolетом погнался за бандитами, которые хотели ограбить его дом. До революции страстно защищал подсудимых по “мултанскому делу”. Он был беспощадным редактором, в чем Пешков убедился при первой же встрече с ним.

— Вы часто допускаете грубые слова, — должно быть, потому, что они кажутся вам сильными? Это — бывает. <...>

Внимательно взглянув на меня, он продолжал ласково:

— Вы пишете: «Я в мир пришел, чтобы не соглашаться. Раз это так...» «Раз так» — не годится! Это — неловкий, некрасивый оборот речи. Раз так, раз этак, — вы слышите?..

Далее оказалось, что в моей поэме кто-то сидит «орлом» на развалинах храма.

— Место мало подходящее для такой позы, и она не столько величественна, как неприлична, — сказал Короленко, улыбаясь”.

Вот так ласково, улыбаясь, он уничтожил поэму Пешкова.

Уходя от него, Пешков решил больше не писать стихов. Обещания не сдержал. Но можно сказать, что именно после первой встречи с Короленко Пешков превратился в писателя.

Через три года появится “Макар Чудра”, первый рассказ, который он подпишет псевдонимом Горький. Спустя три года благодаря Короленко в журнале “Русское богатство” будет опубликован “Челкаш”. А еще через три года выйдут “Очерки и рассказы”. В Петербурге столичная интеллигенция даст банкет в честь новорожденного гения. На этом банкете будет присутствовать и Короленко.

Переход и гибель

“Человек — это переход и гибель”, — говорил Заратустра Ницше, имея в виду, что человек — это “мост”, протянутый природой между животным и сверхчеловеком. С этой

“истиной” молодой Пешков познакомился еще до того, как стал Горьким.

Но прежде — некоторые бытовые подробности его пребывания в Нижнем. С октября 1889 года он устроился работать письмоводителем к присяжному поверенному А.И.Ланину за двадцать рублей в месяц. Двадцать рублей — деньги хорошие. Это меньше тридцати рублей, которые весовщик Пешков получал на железной дороге, но и не три рубля, получаемые за работу в пекарне. Тем более что Ланин работой Пешкова не обременял, зато позволял пользоваться своей роскошной библиотекой.

Ланин был личностью в Нижнем Новгороде известной. Прекрасный адвокат, либеральный общественный деятель, председатель совета Нижегородского общества распространения начального образования. “Влияние его на мое образование было неизмеримо огромным, — писал Горький. — Это высокообразованный и благороднейший человек, коему я обязан больше всех...”

Любопытно сравнить его и Ромаса фотопортреты, поместив между ними портрет Короленко. Если совместить лица Ромаса и Ланина, то получится почти Короленко. Во внешности Ланина сочетались барин и интеллигент. Густая шелковистая борода, в которой было что-то “тургеневское”, как и в его умных, пронизательных и очень доброжелательных глазах. Огромный лоб, но без упрямства Ромаса. Большие, красиво очерченные уши, кажется, созданные для того, чтобы внимательно слушать собеседника.

Трудно вообразить, какой из полуграмотного Пешкова был письмоводитель, но хлопоты Ланину он доставил тотчас же. Уже в октябре Пешков был арестован и заключен в первый корпус нижегородского замка.

Это было эхо Казани. После разгрома студенческого движения, отчисления и высылки многих студентов часть из них осела в Нижнем. Вообще в Нижнем произошло своеобразное повторение казанской ситуации. Горький вновь

оказался в кругу своих бывших приятелей. Среди них были А.В.Чекин и С.Г.Сомов, с которыми он поселился в трехкомнатной квартире по Жуковской улице. Чекин — педагог, организатор народнических кружков в Казани — продолжал заниматься этим и в Нижнем. Сомов был странный человек. В письме к Груздеву Горький утверждал, что именно Сомова описал Боборыкин в романе “Солидные добродетели” и Лесков в рассказе “Шерамур”. Когда Груздев усомнился, что карикатурный персонаж эмигранта, выведенный в рассказе Лескова, и есть бывший приятель Горького, тот стал настаивать: “С.Г.Сомов именно таков был, как его написал Лесков: среднего роста, квадратный, с короткой шеей, отчего казался сутулым. На квадратном лице — темненькие, пренебрежительные глазки, черная, тупая борода. Уши без мочек. Голос — ворчливый, бурчащий, фраза небрежная, короткая. Черноволосость, прямота и жесткость волоса указывали как будто на инородческую, всего скорее калмыцкую кровь. После остался сын в Саратове. Писал мне в 17 или 18 гг. С.Г. был убежден в своей исключительной гениальности, но это выходило у него не смешно и не тяжело, а как-то по-детски забавно. «Гениальность» делала его отчаянным эгоистом. Был прожорлив. Съедал молоко своих девочек; у него было две, обе очень болезненные. Когда их мать, некрасивая, нездоровая и задавленная нищетой, говорила ему: «Как же дети? Ты съел их молоко!» — он ворчал, что неизвестно еще, дадут ли дети миру что-нибудь ценное, тогда как он — уже... В общем же это был все-таки хороший человек. Странно, что некоторые его идеи — напр<имер> о Китае — совпадали с идеями Н.Ф.Федорова”.

Остается добавить, что Сергей Григорьевич Сомов родился в 1842 году и, значит, был старше Пешкова на двадцать шесть лет. За совместное проживание с этим “темным” человеком Пешкова и арестовали. На первом допросе, по замечанию полиции, он “держал себя в высшей степени

дерзко и нахально”. В очерке “Время Короленко” Горький описывает свое пребывание в замке с иронией.

Допрашивал Пешкова начальник нижегородского жандармского управления генерал И.Н.Познанский — это говорит о том, какое значение придавали разным странным людям, вроде Сомова и Пешкова, в нижегородской жандармерии. Познанский был человеком глубоко несчастным, и об этом знал весь город.

18 апреля 1879 года, когда Познанский служил начальником Санкт-Петербургского жандармского управления, его шестнадцатилетний сын, ученик Первой петербургской гимназии, был найден мертвым после сильнейшего отравления морфием. В убийстве его подозревалась гувернантка, француженка Маргарита Жюжан. Судьей на процессе был знаменитый А.Ф.Кони, в результате чего суд вынес оправдательный приговор, а сын главного петербургского жандарма был признан морфинистом.

Горький описывает генерала в мягких, но иронических тонах. “Какой вы революционер? — брюзгливо говорил он. — Вы не еврей, не поляк. Вот — вы пишете, ну, что же? Вот когда я выпущу вас — покажите ваши рукописи Короленко, — знакомы с ним? Нет? Это — серьезный писатель, не хуже Тургенева...” Таким образом, первым серьезным ценителем его творчества был добрый жандармский генерал, который и благословил его на литературную стезю. Ведь известно, что Пешков прятал от друзей свои стихи, стеснялся их. После обыска они оказались у генерала.

Дочь генерала была талантливой пианисткой. О том, как Пешков с улицы слушал ее музыкальные упражнения дома, Горький описал в рассказе “Музыка”. Так что генерал Познанский сыграл в судьбе Горького определенную роль.

Ланин не зря натерпелся от своего служащего, которого он готовил в присяжные поверенные. Первая книга Горького носила посвящение А.И.Ланину. Между прочим, его имя на титульном листе могло всерьез навредить леген-

де по имени М.Горький. Как и тот несомненный, но неизвестный широкой публике факт, что невольный (или сознательный?) творец этой легенды, якобы “босяк”, еще до выхода первой книги был знаком (лично и по письмам) с виднейшими личностями того времени — Н.Ф.Анненским и В.Г.Короленко, Ф.Д.Батюшковым и Н.К.Михайловским, Д.В.Григоровичем и А.М.Скабичевским. Это было просто: заявиться в дом Короленко, показать рукопись, получить отклик. Будучи провинциальным журналистом, перекинуться парой слов с художником Верещагиным, оказавшимся на нижегородской Всероссийской промышленной и торговой выставке, где Пешков был аккредитован. Послать рассказ по почте в столичные “Русские ведомости” (даже не сам отправил, а его приятель Н.З.Васильев, без ведома автора) и через месяц читать рассказ “Емельян Пиляй” напечатанным. Сидючи в “глухой провинции”, искать в столице издателей через посредников (В.А.Поссе) и находить — не одного, так другого. Отказались издавать “Очерки и рассказы” О.Н.Попова, М.Н.Семенов и А.М.Калмыкова. Зато взяли А.П.Чарушников и С.П.Дороватовский.

Поражает невероятная плотность культурного пространства в гигантской бездорожной стране! Слово между столицами и провинцией не было никакого расстояния! Вот еще пример. Через два месяца после выхода “Очерков и рассказов” литературная знаменитость опять попадает в тюрьму. На сей раз посадили уже как политического преступника, по старым, еще тифлисским революционным делам. Арестовали в Нижнем, но сидеть надлежало в Тифлисе, на месте, так сказать, преступления. И вот из Метехского замка Горький пишет жене: «Гиббона» скоро прочту”. То есть что же еще читать в провинциальной тюрьме, как не гиббоновскую “Историю упадка Римской империи”, сравнивая ее с упадком империи собственной!

Когда главный редактор “Русского богатства” критик и публицист Н.К.Михайловский обозревал в своем журна-

ле “Очерки и рассказы” “господина М.Горького”, он естественно задался вопросом: каким образом в произведениях этого самоучки, не знавшего иностранных языки, проникли идеи Ницше, которого в самой Европе в то время считали обычным умалишенным? Вероятно, решил Михайловский, эти идеи попали туда случайно. Они “носятся в воздухе” и “могут прорезываться самостоятельно”. Замечание, достойное той эпохи. Европейская профессура в большинстве своем все еще считает Ницше неудавшимся филологом, “зарвавшимся мыслителем”, а в России его идеи “носятся в воздухе” и “прорезываются самостоятельно” в творчестве провинциального самоучки.

Михайловский переосторожничал. Ничего случайного в нищестанстве самоучки из Нижнего Новгорода не было. Не сам ли Михайловский еще в 1894 году выступил в “Русском богатстве” с двумя капитальнейшими статьями о Ницше, равных по глубине которым в европейской периодике еще не было? Не он ли едва не первым заговорил об особой морали Ницше (“он — моралист и притом гораздо, например, строже и требовательнее гр. Л.Н.Толстого”)? И это в то время, когда Европа считала Ницше исключительно аморальным мыслителем. Не он ли задолго до экзистенциалистов написал работу “Ницше и Достоевский”? Этих статей Горький не мог не знать. Знал он, как сегодня известно, и о статьях московских профессоров Грота, Лопатина, Астафьева и Преображенского, появившихся в “Вопросах философии и психологии” в 1892–1893 годах. Спорил о них со студентами ярославского лицея.

В конце восьмидесятых, находясь на пороге окончательного безумия, Ницше только получал первые весточки о том, что его признали одинокие умы Европы и Скандинавии. Только-только Георг Брандес в Дании выступил с лекциями о “базельском мудреце”. Законодатель интеллектуальной моды во Франции Ипполит Тэн только-только бросил свой благосклонный взор на европейского мысли-

теля, уже завершающего свой творческий путь. А через несколько лет ярославские студенты уже ожесточенно спорят о нем с каким-то Пешковым, не окончившим даже начального училища Кунавинской слободы.

Это и была Россия, “которую мы потеряли”. И в этой стране не могла не накопиться та критическая масса, которая вскоре породила взрыв. В культуре той эпохи была какая-то избыточность. Что ни писатель, то мировое событие. Что ни фигура, то мессия. Явление Белого с “Симфониями”, Блока с “Незнакомкой”, Андреева с “Бездной”. И молодой Горький здесь не только не исключение, но — главный участник этого процесса.

“Карьера Горького замечательна, — писал впоследствии князь Д.П.Мирский. — Поднявшись со дна провинциального пролетариата, он стал самым знаменитым писателем и наиболее обсуждаемой личностью в России <...>, его нередко ставили рядом с Толстым и безусловно выше Чехова”. В 1903 году было продано в общей сложности 103 тысячи экземпляров его сочинений и отдельно 15 тысяч экземпляров пьесы “Мещане”, 75 тысяч экземпляров пьесы “На дне”. В то время такие тиражи считались огромными.

В конце сентября 1899 года Горький впервые приехал в Петербург. И уже через десять дней басовито дерзил именитым столичным литераторам и общественным деятелям на банкете, организованном в журнале “Жизнь”. Именитости, конечно, обижались. Но — терпели. Почему? В их глазах Горький, выражаясь сегодняшним языком, был выразителем “альтернативной” культуры. Не зная толком ни кто он, ни откуда явился, все видели в нем вестника неизвестной России. Той, что начиналась даже не за последней петербургской заставой, а в каком-то мистическом пространстве, где прошлое соединяется с будущим. Конечно, это случайность, что появление “Очерков и рассказов” почти буквально совпало с выходом в свет первого

русского перевода “Так говорил Заратустра”. Но Горький к этой случайности хорошо подготовился.

В архиве Горького хранятся воспоминания жены его нижегородского знакомого Николая Захаровича Васильева. Химик по профессии и философ по призванию, он так напичкал Пешкова древней и новейшей философией, что едва не довел его до умопомрачения. В очерке “О вреде философии” Горький ярко описал и личность самого Васильева, и свое умственное состояние в 1889–1890 годах.

“Прекрасный человек, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности: ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин — весьма вкусное лакомство. Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты: принимал бромистый калий и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах; принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор, суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал:

— Лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей!

Этими опытами Николай испортил себе все зубы, они у него позеленели и выкрошились. Он кончил все-таки тем, что — намеренно или нечаянно — отравился в 1901 году в Киеве”.

Над своим другом Васильев поставил другой эксперимент. “Будем философствовать”, — однажды заявил он. Горький вспоминал: “...развернул передо мною жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора: Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал”.

За Эмпедоклом последовали другие. И наконец — Ницше, о котором в России в то время еще не упоминали в печати. В своих воспоминаниях жена Н.З.Васильева пишет: “Из ли-

тературных их (Пешкова и Васильева. — П.Б.) интересов этого времени помню большую любовь к Флоберу, которого знали почти всего. Почему-то, вероятно за его безбожность, не было перевода «Искушения св<ятого> Антония», и меня заставили переводить его, так же как впоследствии Also sprach Zarathustra (Заратустра) Ницше, что я и делала — наверное, неуклюже, и долгое время посылала Алексею Максимовичу в письмах на тонкой бумаге мельчайшим почерком”.

Судя по сохранившимся в архиве Горького письмам Васильева, он методично просвещал своего приятеля и потом сурово разбирал его произведения с точки зрения соответствия ницшеанской морали. Результатом этой философской учебы стало то, что однажды Горький почувствовал: он сходит с ума.

“Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на Откосе, глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд, и — начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое черное пятно, как отверстие бездонного колодца, а из него высунется огненный палец и погрозит мне.

Или: по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую, каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды Млечного Пути сольются в огненную реку и вот сейчас она низринется на землю...”

И наконец явные признаки безумия: “Я видел Бога, это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах...”

Примерно в это же время, в январе 1889 года, в Турине прямо на улице Ницше настигает апоплексический удар, за которым следует окончательное умопомрачение. Он рассылает знакомым безумные почтовые открытки с подписями “Дионис” и “Распятый”. 17 января мать с двумя сопровождающими отвозит его в психиатрическую клинику Йенского университета. Улыбаясь, как ребенок, он просит врача: “Дайте мне немножко здоровья”. Потом начинаются

частые приступы гнева. Кричит. Принимает привратника больницы за Бисмарка. В страхе разбивает стакан, пытается “забаррикадировать вход в комнату осколками стекла”. Прыгает по-козлиному, гримасничает. Ни за что не желает спать в кровати — только на полу.

Горький, человек с более крепкой нервной организацией, отделался легче.

Нижегородский психиатр, “маленький, черный, горбатый, часа два расспрашивал, как я живу, — писал Горький, — потом, хлопнув меня по колену странно белой рукой, сказал: «Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю эту дребедень, которой вы живете! По комплекции вашей вы человек здоровый, и — стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин — как? Ну! это тоже не годится! Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая покладнее к любовной игре, — это будет вам полезно!»”

В апреле 1891 года Горький действительно бросил “ко всем чертям книжки и вообще всю эту дребедень” и отправился из Нижнего в свое знаменитое странствие “по Руси”. А через год в тифлисской газете “Кавказ” появился его первый рассказ — “Макар Чудра”, который открывался следующими рассуждениями старого цыгана: “Так нужно жить: иди, иди — и все тут. Долго не стой на одном месте — чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг Земли, так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься — разлюбишь жизнь, это всегда так бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол...”

Ницше и Горький

Вопрос о ницшеанстве раннего (и не только раннего) Горького весьма сложен. Легко заметить, что и в более поздних произведениях он не забывал о Ницше. Например, назва-

ние самого известного цикла горьковской публицистики “Несвоевременные мысли” заставляет вспомнить о “Несвоевременных размышлениях” (в другом переводе — “Несвоевременные мысли”) Ницше.

В архиве Горького хранится любопытное письмо М.С.Саяпина, внука сектанта Ивана Антоновича Саяпина, описанного в очерке Г.И.Успенского “Несколько часов среди сектантов”. М.С.Саяпин, внимательно изучавший русских сектантов, находил в их учениях сходство с философией Ницше: “Все здесь ткалось чувством трагедии. Чтобы как-нибудь объяснить себе эти жизненные иероглифы, я стал буквально изучать книгу Ницше «Происхождение трагедии из духа музыки», читал я всё, что могло мне попасться под руки в этом направлении, и наконец убеждение окрепло: да, дух русской музыки, живущей в славянской душе, творит неписаную трагедию, которую люди разыгрывают самым идеальным образом — не думая о том, что они играют”.

Не исключено, что молодой Горький читал Ницше аналогичным образом. Чтобы как-то объяснить события русской жизни, он обращался к мировой философии и находил в ней то, что наиболее отвечало его собственным, уже сформировавшимся впечатлениям и мыслям.

В переписке Горького и в его статьях можно заметить, что при довольно частых упоминаниях Ницше (около сорока раз) его отзывы о нем были либо сдержанными, либо критическими. Единственным исключением является письмо к А.Л.Волынскому от 1897 года, где Горький признается: “...и Ницше, насколько я его знаю, нравится мне, ибо, демократ по рождению и чувству, я очень хорошо вижу, что демократизм губит жизнь и будет победой не Христа — как думают иные, — а брюха”.

Но Ницше никак не мог желать победы Христа, поскольку был ярым врагом христианства. Гораздо точнее Горький отозвался о Ницше в письме к князю Д.П.Мирскому от 8 апреля 1934 года: “Ницше Вы зачислили в декаденты, но —

это очень спорно, Ницше проповедовал «здоровье»...» Если вспомнить, что вернувшийся к тому времени в СССР Горький тоже проповедовал здоровье как идеал советской молодежи, то это высказывание приобретает особый смысл.

В то же время в цитированном письме к А.Л.Волынскому чувствуется желание молодого Горького подыграть настроению автора книги “Русские критики” и статей об итальянском Возрождении, о которых, собственно, и идет в письме разговор. Это его, Волынского, идеи пересказывает Горький, пользуясь именем Ницше как языком своей эпохи. В 1897–1898 годах Горький сотрудничал в “Северном вестнике” Волынского и искал с ним общий язык.

В целом ранние отзывы Горького о Ницше можно считать умеренно положительными. Он высоко ценил его бунтарство, протест против буржуазной культуры и весьма низко ставил его социальную проповедь. Но сдержанность, с которой Горький отзывался о Ницше вплоть до конца двадцатых годов, не исключает возможности высокого, но скрываемого интереса к нему. На отношение Горького к вопросу о Ницше могла повлиять шумная кампания в критике вокруг его первых вещей. В статьях Н.К.Михайловского, А.М.Скабичевского, М.О.Меньшикова, В.Г.Короленко и других ницшеанство писателя было подвергнуто резкой критике. В ницшеанстве его обвинил и Лев Толстой. Все это не могло не повлиять на Горького. Он не мог чувствовать себя свободно, когда публично высказывался о Ницше.

В 1906 году, впервые оказавшись за границей, Горький получил письменное приглашение сестры уже покойного Ницше, Элизабет Фёрстер-Ницше.

12 мая 1906 г. Веймар

Милостивый государь!

Мне приходилось слышать от Вандервельде и гр<афа> Кесслера, что Вы уважаете и цените моего брата и хотели бы посетить последнее местожительство покойного.

Позвольте Вам сказать, что и Вы и Ваша супруга для меня исключительно желанные гости, я от души радуюсь принять Вас, о которых слышала восторженные отзывы от своих друзей, в архиве Ницше, и познакомиться с Вами лично. На днях мне придется уехать, но к 17 мая я вернусь. Прошу принять и передать также Вашей супруге мой искренний привет.

Ваша Э.Фёрстер-Ницше

Имя бельгийского социал-демократа Эмиля Вандервельде позволяет оценить всю сложность и запутанность вопроса о нищезанстве Горького. В начале века социализм и нищезанство еще не враждуют, но часто идут рука об руку. Недаром в это время о нищезанстве Горького под знаком плюс писала и марксистская критика, скажем, А.В.Луначарский. Мысль о “браке” Ницше и социализма носилась в воздухе и заражала многие умы и сердца. Так, в письме к Пятницкому в 1908 году Горький писал о поэте Рихарде Демеле, творчеством которого увлекался в это время. Это, по его мнению, “лучший поэт немцев”, “ученик Ницше и крайний индивидуалист”, но главная его заслуга в том, что он, “как и Верхарн, передвинулся от индивидуализма к социализму”.

В январе 1930 года Горький получил письмо от немецкого поэта Вальтера Гильдебранда. Оно весьма точно отражает начало кризиса этой идеи: “Признаешь водовороты Ницше и в то же время являешься коммунистом, с другой стороны — ты коммунист, на которого Ницше смотрит с презрением. Я почитаю Райнера Мария Рильке, этого большого одинокого человека, ушедшего в себя, и в то же время я чувствую сродство и единомыслие с Вами”.

Но отношение Горького к Ницше в это время было уже резко отрицательным. В статьях “О мещанстве” (1929), “О старом и новом человеке” (1932), “О солдатских идеях” (1932), “Беседы с молодыми” (1934), “Пролетарский гуманизм” (1934) и других он проклинал Ницше как предтечу на-

цизма. Именно Горький стал главным проводником этого мифа в СССР. Впрочем, в эти годы значительная часть интеллектуальной Европы (Ромен Роллан, Томас Манн и другие), напуганная фашизмом, отвернулась от своего прежнего кумира.

Интересно, что именно в это время современники отмечали внешнее сходство Ницше и Горького. Ольга Форш в статье “Портреты Горького” писала: “Он сейчас очень похож на Ницше. И не только пугающими усами, а более прочно. Может, каким-то внутренним родством, наложившим на их облики общую печать”. Загадка этого двойничества, по-видимому, волновала и самого писателя. В повести “О тараканах” Горький заметил: “Юморист Марк Твен принял в гробу сходство с трагиком Фридрихом Ницше, а умерший Ницше напомнил мне Черногорова — скромного машиниста водокачки на станции Кривая Музга”.



ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

составитель
ВАСИЛИЙ
ВЛАДИМИРСКИЙ

МИР БЕЗ СТРУГАЦКИХ

Ника БАТХЕН Владимир БЕРЕЗИН Дарья БОБЫЛЁВА
Эдуард ВЕРКИН Ина ГОЛДИН К.А.ТЕРИНА
Николай КАРАЕВ Елена КЛЕЩЕНКО Сергей КУЗНЕЦОВ
Тимур МАКСЮТОВ Ася МИХЕЕВА Алексей САЛЬНИКОВ

18+



Владимир
Березин

Будущий писатель Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. Его отец, по национальности перс, довольно зажиточный человек, при новой власти обеднел, но всё равно в 1938 году был депортирован из СССР. Маленький Фазиль воспитывался родственниками матери в абхазском селе Чегем. Окончив школу с золотой медалью, он уехал в Москву, где в конце концов окончил в 1954 году Литературный институт им. А.М. Горького. Работал журналистом, а затем редактором. В 1957 году опубликовал в сухумском издательстве первую книгу стихов, печатался в журнале «Юность», но известность получил после публикации повести «Созвездие Зубробизона» (1966) в журнале «Новый мир». В этой повести рассказывается о памятных в то время попытках советского руководства реформировать сельское хозяйство. В частности, в горах Абхазии выпускают стадо зубробизонов, которое вместо того, чтобы приносить народному хозяйству шерсть и мясо, ускользает от человека и сливается с природой. Рождённые от смешанных браков с абхазскими лешими и русалками существа превращаются в фавнов и наполняют леса вокруг Чегема звуками самодельных флейт и греческими песнями. Произведение было воспринято как сатирическое и благодаря этому случайно миновало цензурные рогатки.

Этого нельзя сказать о повести «Сухорукий», посвящённой проклятию, наложенному на Сталина одним абхазским жрецом в то время, когда Иосиф Джугашвили был успешным экспро-

приатором и с помощью ружья и револьвера пополнял партийную кассу. Повесть была написана в стол, но потом вышла в издательстве Ann Arbor в Мичигане (США). Роман «Трудно быть с богом» написан в жанре альтернативной истории, где судьбы мира решаются близ всё того же села Чегем. Сквозной герой этих книг, живущий вечно абхаз Серго, войдя в дупло орехового дерева, оказывается в прошлом и пытается предотвратить множество катаклизмов минувшего века, но видит, что это приводит лишь к большей крови и страданиям. Повесть «Дары Мельхиора» посвящена мистической истории высылки понтийских греков из Абхазии в 1949 году, в ходе которой они попадают не в Северный Казахстан, а в Древнюю Грецию.

Но большая часть книг писателя проникнута мягким юмором, восхищением перед красотой кавказской природы и добродушием жителей его родных мест. Многие его герои имеют реальных прототипов. В общем персонаже этих книг, дяде Серго, как пишет немецкий литературовед Вольфганг Казак в своём «Лексиконе русской литературы XX века», узнаются отчётливые черты самого автора.

Известен также как автор остроумных афоризмов, многие из которых вошли в обиходную речь, утратив имя своего создателя.

Фантастические рассказы и повести Фазиля Искандера далеки от классических представлений о фантастике с космическими путешествиями, миром звездолётов и космических станций. Ещё в детстве писатель заинтересовался народными верованиями Кавказа и населил свои произведения горными духами, таинственными существами, но и историческими личностями XX века. Мир его историй похож своей связностью на пространство Йокнапатофы Уильяма Фолкнера и Макондо Габриэля Гарсия Маркеса и образует трилогию «Серго из Чегема».

Дружил со знаменитыми поэтами Аллой Нигматуллиной, Андреем Крестовоздвиженским, Эдгаром Успенским и бардом Сталиком Лежавой.

В 1979 году писатель участвовал в неподцензурном альманахе «Каргополь» (где была напечатана повесть «Большой человек, или Маленькое влечение»). После этого несколько лет не мог публиковаться в СССР.

31 июля 2016 года он вышел со своей дачи в Переделкино, и с тех пор его больше никто не видел. Некоторые источники сообщают, что он вернулся к себе в Абхазию и вновь поселился в селе Чегем. Однако абхазские журналисты утверждают, что село Чегем давно покинуто жителями.

Один из модных московских поэтов, Митя Коровин, отправившийся по следам писателя, утверждал, что видел Искандера в Чегеме, по-прежнему цветущем селе, но выяснилось, что он сочинил своё интервью с писателем, не выезжая из столицы.

Фазиль Искандер
Ореховый лес

— **С**колько я себя помню, — сказал дядя Серго, — с этим лесом всегда было что-то не то. Не говоря уж об одной истории с иностранцем, которую мы все предпочли забыть и которую я тебе всё-таки сегодня расскажу. Но начать нужно с того, что к Ореховому лесу мы относились с опаской. Даже скот старались водить не через ущелье, поросшее ореховыми деревьями, а по краю скал. Туристы, что приходили к нам с севера, предупреждённые кем-то, тоже старались не спускаться вниз, хотя так путь был короче. Те из них, кто пытался пройти через Ореховый лес, даже не дойдя до него, обнаруживали, что перед ними тянутся глухие окольные тропы. А во время *той* войны здесь пытались приземлиться немецкие парашютисты, так все, кто приземлился рядом с сёлами, были схвачены, а вот те, кого отнесло в этот лес, — пропали. Говорят, что люди, жившие на месте нашего села, когда им приказали вступить в колхоз, ушли ущельем прочь, не вступая в споры с приезжими начальниками.

Но приезжие начальники поменялись, появились новые жители, дома вновь наполнились детскими кри-

ками, снова стали играть свадьбы, и по-прежнему нельзя было отличить праздники от похорон, потому что веселье — всегда продолжение скорби, а любая печаль не длится вечно.

Тот иностранец, о котором я хочу тебе рассказать, был очень милый. Он переписывался с одной местной женщиной, вдовой по имени Мария. Дочь Марии надумила мать написать на сайт знакомств, мы, как ты понимаешь, всего этого не одобряли. Но эти женщины никогда не слушают мужчин, уж такие теперь настали времена. К тому же она была эндурка, а с этими — вообще беда. Так или иначе, у Марии завязалась переписка с каким-то шведом, и все уже гадали, когда придет этот принц и увезёт Марию с её дочерью в далёкие края. У нас не было сомнения, что всё это придумала дочь Марии, потому что всякая девушка хочет уехать из села — так уж повелось. Предусмотрительные девушки знают, что путешествие бывает двух типов: постепенное, как подъём по лестнице, и стремительное, как вознесение. Медленный подъём начинается в родном селе, потом перед ними лежит незнакомый город, затем они вступают в город побольше, и вот они уже в Москве. Но Москва никогда не считается конечной точкой. Конечной точкой эти девушки хотят видеть Нью-Йорк или, на худой конец, Париж. И вот девушка стоит где-то посредине этого Нью-Йорка, над ней вспыхивает реклама, а она фотографирует сама себя, чтобы послать фотографию подругам, с которыми она вместе прогуливала уроки арифметики. Ни для чего больше такое путешествие совершать не нужно.

Некоторые девушки, воспользовавшись новыми временами, делали такие снимки, просто приехав в Париж или Нью-Йорк всего на день-два. Но подделка сразу видна: как-то не так ложатся тени на их лица, может быть, дрожит рука, и, в общем, если послать такой фальшивый снимок любой подруге детства, та сразу распознает подмену.

Здесь всё было подготовлено серьёзно, и мы все стали ожидать шведа. Дело было на мази, но тут началась первая война, а за ней и вторая — так у нас их называли. Войн было три: *та* война, *первая* война и война *вторая*. Во время первой, уже недавней войны эндурцам в нашем краю пришлось несладко, и Мария с дочерью ушла вместе с беженцами на восток. Беженцы двинулись в путь зимой, оставляя в снегу чёрные дыры от своих ботинок. Некоторые из них бросали скарб по дороге, и я сам по весне, когда сошёл снег, обнаружил на обочине чемодан, который ждал своих потерявшихся хозяев как собака. С тех пор мы больше не видели эндурцев. Может, они жили теперь в Эндуррии или в русской столице, а может, случилась с ними какая-то неприятность по дороге, — всё-таки они отправились прямоком через Ореховый лес. Тут были разные мнения.

Но вдруг в нашем селе появился тот самый иностранец, который переписывался с Марией. Он давно не получал от неё писем, встревожился, читая газеты, и прилетел к нам.

Он вовсе не походил на принца, роста был небольшого, а на вид был скорее толстый, чем худой. С собой он притащил множество тюков, но подарки вручить было некому. Гость обежал всё село, но ничего толко-

вого так и не узнал. Все рассказывали ему истории из своей жизни, а наиболее философски настроенные жители говорили, что так тут повелось испокон веку. Все куда-то уезжают — старики к детям, дети возвращаются на зиму в города, а то и в столицу. А некоторые даже в Нью-Йорк и Париж. Иностранцу просто стоит дожждаться более тёплых дней. Одним словом, никто не хотел расстраивать шведа.

И он остался зимовать.

Но весной началась новая война, жизнь снова стала утомительной, и уже не так интересно было ездить в город к морю, выходить на набережную и бесконечно пить кофе, больше похожий на дёготь. Дёгтя, впрочем, у нас не знали. А теперь и с кофе возникли какие-то сложности.

Иностранец не роптал, тем более мы утешали его тем, что климат у нас получше, чем в его Швеции. Это мы знали наверняка, а за остальное не ручались. Иностранец жил в опустевшем доме Марии, дни шли за днями, никаких вестей от женщины он не получал, и скоро у него кончились деньги.

Денег, впрочем, тогда ни у кого не было. Они появлялись разве что осенью, когда женщины везли орехи и мандарины на продажу, потому что мужчинам было опасно путешествовать даже с мирным делом. А в остальном жили тем, что подавал Бог, высунувшись из своего облака. Повезло одному Тимуру, который с помощью родственников купил небольшой аппарат для производства мандаринового сока. Сок он закатывал в бутылки и жил лучше прочих. Иностранец устроился смотреть за его машиной и даже починил её,

когда вместо мандаринов туда случайно насыпали греческие орехи. Всему греческому мало везло в наших местах. Потом у нас стали меняться власти — одна за другой, и мы забыли, что иностранец на самом деле иностранец. Как-то нам уже это было неинтересно, он был уже свой, толстый и смешной, пел и пил с нами наравне. На жизнь он не жаловался, а я заметил, что, если мужчины старше сорока начинают много жаловаться на жизнь, очень хочется им сказать: «Потерпите, недолго уж».

То, как пропала Мария со своей дочерью, никто из нас вовсе не вспоминал. Мы отгоняли от себя мысль о том, что никто из беженцев не добрался до Эндурска, а попал напрямик на небеса. Один швед не оставлял поиски, он всё писал куда-то в свободное от мандаринов время. Как-то он встретился с одной старухой, что сказала, будто видела Марию с дочерью в ущелье Орехового леса в тот день, когда эндурцы решили покинуть наши места.

Швед вёл кипучую деятельность, которую мы принимали за лёгкое тревожное похмелье. Наконец ему пришла посылка — довольно большой тюк. Он вышел с ним из дверей почтового отделения, и сперва мы решили, что он заказал на родине теплицу. Но это оказалась вовсе не теплица.

Иностранец долго снимал упаковку со своей посылки, и поглазеть на это сбежались все наши односельчане, многие бросили философские размышления на верандах, приползли старики, шаркая ногами и поднимая пыль, которая долго не оседала на дороге. Прибежали дети, прервав свои беззлобные драки, пришли даже

женщины, что перебирали фасоль под навесами. Мы продолжали спорить, теплица это или не теплица. Некоторые меняли своё мнение с каждым движением иностранца. Кто-то стал говорить, что он купил большую палатку и теперь будет жить в ней, потому что жить в доме исчезнувшего человека ему невмоготу. Но наконец наш гость закончил своё дело, и мы поняли, что иностранец собрал летательный аппарат. Я видел такие ещё до *второй* войны, впрочем, видел и до *первой* — они летали над морем и иногда даже катали отдыхающих. Иностранец приладил к дельтаплану моторчик и обвёл всех довольным взглядом.

И тут мы поняли, что он собирается искать свою суженую в Ореховом лесу.

Тогда мы стали уговаривать его не делать это — сперва вместе, а потом по очереди. Мы приходили к нему с вином и небогатой едой и рассказывали страшные истории об Ореховом лесу.

Даже я поведал иностранцу, как мой школьный учитель арифметики хотел найти тайную дачу Сталина, да так и исчез. А ведь Сталина давно нет, а может, и не было никогда. И где-нибудь на краю леса стоит дача, но вовсе не отца всех народов (кроме греческого и тех, других, которых он послал в Северный Казахстан). И вовсе не дача там стоит, а домик пастухов. Да и домика никакого нет. Просто леса у нас вовсе не такие, как во всех других местах, и может почудиться всё что угодно.

Одним словом, с тех пор мы плохо знали арифметику, что нам очень мешало, когда мы привозили мандарины и орехи на рынок.

Во время *той* войны в Ореховом лесу ловили шпионов, а потом ловили греков, которые не знали, что их выслал Сталин, но так никого и не нашли. Ничего из этого хорошего с поимщиками не вышло, служба их повернулась дурно, и никому радости эти затеи не принесли. Если не считать того, что, как молоди языками старухи, неизвестные нам греки дожили свою жизнь в горах, растворившись в лесу. Некоторые говорили, что Ореховый лес заминирован ещё с *той* войны, а потом его заминировали во время *первой* войны, а потом и во время *второй*.

Человек, который рискнул зайти на опушку Орехового леса, считался отчаянным, и только уж совсем сумасшедшие рисковали продвинуться в глубь леса, спустившись со скалы в ущелье. Но, поглядев в сомкнувшиеся стволы, как в лица покойных предков, все они лезли обратно. Ходили слухи о том, как один мальчик погнался за убежавшей козой и всё-таки побывал в лесу. Он вернулся таким, что его не узнавали родные. Тут мнения были разные: некоторые рассказывали, что мальчик за одну ночь стал стариком, что маловероятно. Другие говорили, что он повредился рассудком; впрочем, жители нашего села никогда не отличались большой рассудительностью. Этот мальчик присутствовал во всех историях про Ореховый лес: вот он возвращается в деревню и трясёт головой, не в силах ничего объяснить. По правде сказать, половина моих друзей так вела себя на уроках арифметики.

Но этот шведский парень был непреклонен. В общем, мы отступились, а он за лето неплохо выучился летать на своей штуке, похожей на раскладушку. Время

шло, и мы привыкли к трескучим звукам его моторчика над нашими головами.

Как-то он уговорил меня привезти его в заповедник. Этот заповедник был у нас рядом, и много лет назад туда доставили для опытов обезьян со всего мира. Одну обезьяну поймали даже в самом настоящем Китае. Злые языки говорили, что это Царь обезьян, но мы не особенно в это и верили. Царя у нас уже давно отменили, и никто не позволил бы становиться при Советской власти царём, даже царём обезьян. А потом началась первая война. Обезьянам пришлось несладко, не лучше, чем эндурцам, — только бежать им было некуда. В наши времена до Китая так просто не добежишь. Некоторых обезьян съели — не из-за голода, а больше из любопытства, другие умерли безо всякой пользы, а третьи всё же исчезли. По слухам, Царь обезьян увёл их куда-то, возможно в Ореховый лес.

Мы вышли за ржавую ограду заповедника и устроились с нашими бутылками и сыром на краю ущелья.

Швед совершенно не боялся высоты и, разувшись, свесил ноги в пропасть.

Сторож лёг на спину и, глядя на звёзды, принялся рассказывать историю своих отношений с одной продавщицей на набережной, страстной эндуркой, совершенно забыв о нравственном законе. Но иностранец был терпелив и, дождавшись, когда старик выговорится, приступил к расспросам об Ореховом лесе. Сторож, давно не видевший такого внимательного собеседника, стал описывать лес теми же словами, что и свою давнюю возлюбленную. Швед задумчиво швырял камешки в туман, который лез из пропасти, как пар из котла с ма-

малыгой, а сторож плёл небылицы, как это свойственно всем скучающим старикам. Но иностранец верил ему, переспрашивал и делал пометки на карте.

Под конец сторож сказал, что его очень интересует, куда пропала та продавщица, потому что наверняка она была несчастлива со своим мужем. А он, старик, ещё не растратил мужской силы и мог бы составить её счастье. Все обезьяны разбрелись, и ему не о ком больше заботиться, так отчего бы не ухаживать за этой прожившей долгую жизнь женщиной.

В те дни, когда окончилась летняя жара, а дожди ещё не начались, он попросил нас отвезти его к краю ущелья. Там он собрал свой нелепый аппарат, а потом мы выпили вина, прощаясь.

Лес лежал внизу перед нами. Клубился туман, сладко пахло высыхающими листьями и горными травами, всё это смешивалось с горькой хвоей, пока наконец к этому не прибавился запах бензинового моторчика.

Швед затрещал этим моторчиком, махнул нам рукой и взлетел.

Мы проводили его взглядом и допили вино.

Швед летел над Ореховым лесом целый час, пока случайно не зацепил крылом огромное дерево. Ему повезло — он не упал с размаху вниз, а запутался в ветвях.

Только спустившись на землю, он понял, что его окружают необычные деревья. Это были настоящие моельные деревья, которым поклонялись ещё наши предки. В полом основании одного такого дерева могли спрятаться от дождя несколько пастухов. Говорили

также, что иногда наших предков хоронили на таких деревьях, чтобы не зарывать в землю. Об этом, впрочем, спорили археологи.

Надо сказать, что отношение к религии в наших местах особенное и, быть может, самое правильное. Ведь этот край Господь создал для себя и отдал нам просто потому, что мы остались без своей земли. Но жили у нас и мусульмане, и христиане, и евреи, но никто не считал зазорным прийти на праздник соседа и разделить с ним священную трапезу. Наши мусульмане искренне почитали своего Бога, и он разрешил им есть свинину и пить вино, а обрезания им не велел делать, потому что это оскорбляет мужчину. Наши христиане редко ходили в церковь и плохо знали Святое Писание, а наших евреев можно было увидеть в саду с мотыгой в субботу, как и в другие дни. Но все мы знали, что могущественный бог Анцва, невидимый и вездесущий, напрямую управляет всей этой землёй и живёт не только в камнях, но и в деревьях. Поэтому во время любого праздника мы сходились за столом и хором говорили «уа Анцэа улцха хат», что означает «О, Анцва, освети нас лучами своими».

И вот швед стоял перед священным деревом и видел у его подножия угли, сквозь которые проросла трава. Тут же были кости козлёнка, которого когда-то принесли тут в жертву, а в дупле тускло блестел медный котёл, в котором козлёнок был сварен.

Швед переночевал в священной пустоте, как странник, который спит на полу заброшенной церкви.

Под утро он почувствовал, что кто-то наблюдает за ним. Это три обезьяны смотрели на спящего, не дела

никаких попыток подойти или убежать. Как только путешественник моргнул, они исчезли.

Он собрался, закинул мешок за спину и двинулся по тропе, думая о своей Марии. Швед внимательно смотрел под ноги, помня о рассказах сторожа про мины и прочие военные ловушки. Но мин он не видел, только странные лужи чёрной воды по краям тропы. Белый пух недвижно лежал на этой воде, похожей на нефть.

Время от времени рядом с тропой швед обнаруживал странные вещи: то крохотную детскую сандалию, то ржавое ружьё, ствол которого был похож на палку и неотличим от сотен таких же упавших веток.

Иногда в кустах он слышал шорох, и через мгновение тропу перед ним перебежал заяц. Где-то вдалеке раздавался треск сучьев, и иностранец с некоторой опаской прикидывал, не медведь ли занят там своими делами. Но треск сучьев удалялся, и швед снова шёл вверх по ущелью.

Он смотрел на деревья, совсем маленькие, только что вылезшие из земли, и старые, умирающие, и думал, что всё верно: когда человек рождается, он слаб и гибок, когда умирает, он крепок и чёрств. Когда дерево растёт, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жёстко, оно умирает. Чёрствость и сила — спутники смерти, гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то близко к вечности.

Он шёл долго, пока не остановился у такого же огромного ореха, который встретился ему раньше. Он залез в дупло и заснул, а проснулся от запаха дыма. Швед высунулся из дупла и увидел, что три обезьяны

разожгли костёр и варят что-то в медном котле. Он думал спросить обезьян, не видели ли они Марию, но пока спускался вниз, обнаружил, что обезьяны уже ушли. Иностранец, как его тут научили, произнёс: «О, Анцва, освети нас лучами своими», — и доел за обезьянами похлёбку, а потом отправился дальше.

С каждым днём он всё лучше понимал Ореховый лес. Были тут и другие деревья: на скалах росли сосны, где-то неподалёку виднелись самшитовые рощи, торчала брошенная людьми, но не ставшая дикой айва — небольшая, крепкая, узловатая, похожая на ту старуху, которая подала ему идею сюда отправиться. Швед встретил печальную, почти засохшую грушу, на ветке которой висел маленький плод, оказавшийся очень горьким. Тут были лопухие инжировые деревья, и деревья персиковые, похожие на стайку школьниц, и даже лимонное дерево, похожее только на себя.

Понемногу швед стал догадываться, отчего тут так много тех деревьев, которых нет в обычном лесу. Он попал в рай, где переплетено всё, что растёт на земле, и Бог позволяет здесь всему цвести и плодоносить без опаски.

Сперва швед испугался, потому что человек не должен приходить в рай, прежде чем его позовут. Но потом путешественник подумал, что если уж его пустили сюда, значит, так и надо. И если Мария теперь живёт тут, то можно попросить Строителя рая отпустить её обратно. Однажды он упал в ручей, что пересекал тропу. Пока сушились вещи, он увидел, что в лесу произошло движение, будто деревья переминаются с ноги на ногу, устав стоять на одном месте. Тогда ему пришла

на ум мысль, что это не деревья вовсе, а все те люди, что пропали в этих местах. Они просто решили, что жить деревом честнее и лучше, и вот теперь расположились по обе стороны ущелья. Действительно, зачем им возвращаться, даже если их кто-то позовет. Неизвестно, хочет ли сама Мария вернуться. Захочет ли она вновь перебирать фасоль под навесом и варить мамалыгу. Что он мог ей предложить, кроме стука своей машины, окутанной паром и пожирающей мандарины, как какой-то монстр. Про свою Швецию иностранец забыл, да и Швеция, поди, забыла про него.

Наконец он увидел поляну, на которой росло огромное ореховое дерево — третье по счёту. Видимо, когда-то в него ударила молния, отчего часть ветвей почернела. Само дерево было увито диким виноградом, лоза которого поднималась к нижним веткам, потом закручивалась вокруг ствола и исчезала вверх.

В этот момент кто-то стукнул его по затылку. Швед присел от неожиданности, но это была всего лишь сойка, тут же выправившая свой полёт и исчезнувшая в кроне гигантского ореха.

Швед подошёл к дереву и понял, что именно сюда он и добирался. Ствол грецкого ореха был огромным и покрытым дуплами разной формы. Оттого дерево напоминало огромную морщинистую флейту.

Путешественник прислонился к коре лбом. Рядом с его лицом вверх ползла большая улитка, не обращая на него внимания. Она покрутила рожками, изучила новичка и продолжила свой путь. Швед почувствовал, что старый орех под действием ветра звенит и гудит, как большая струна, протянутая от земли к небу. Пока

он слушал гул и звон внутри дерева, улитка успела исчезнуть из его поля зрения.

Он снова услышал шорох крыльев и только немного погодя понял, кто это. Прислушавшись, швед догадался, что на дерево сел дятел и принялся радостно бить клювом в древнюю кору.

От этого стука ореховое дерево стало гудеть по-другому, и иностранец понял: оно отвечает на какие-то вопросы дятла.

Дереву было всё равно, на каком языке с ним разговаривают, птичьем или человечьем. Швед вспомнил, что в раю вовсе не было языка.

Теперь он решил, что самое время спросить Бога, где ему найти суженую, но помедлил.

Ему стало страшно оттого, что он вспомнил одну местную мудрость. Кто-то говорил, что сбываются только настоящие, выстраданные желания, а отвечают тебе не на тот вопрос, который ты задал, но на тот, что внутри тебя.

Поэтому он решил повременить и сел перед деревом. Там он обнаружил ещё тёплый круг золы перед собой. Швед разжёл новый костёр поверх умершего и — за неимением другой жертвы — стал варить в котелке дикие яблоки. Пока закипала вода, он слушал, как журчит ручей, гудит дерево и поют птицы. За эти несколько минут с ним произошло превращение.

Он решил: если ему ответят на какой-то другой вопрос, то это не беда. Пускай это будет даже ответ для сторожа из обезьяньего заповедника. С этой мыслью он встал, прижался к дереву и постучал в кору, как ученик стучит в дверь класса, опоздав на урок арифметики.

ки. Да, точно, если ему откажут, он вернётся и расскажет сторожу то, что ему велело передать ореховое дерево, а там сторож посоветует что-то ещё, и в итоге всё будет правильно и он найдёт что искал. Потому что путешествие вечно, любимые не умирают и ничего бояться не надо.

Однако ещё раз попасть в наше село шведу не довелось.

— Откуда же ты это всё знаешь? — спросил я дядю Серго. — Откуда ты это знаешь, если швед не вернулся назад?

И тут же прикусил язык.

Дядя Серго посмотрел на меня, как если бы я плюнул в стакан с вином, и поднял палец. Он покачал этим пальцем, будто ковыряясь в каких-то невидимых часах и проверяя их завод, а потом раскрыл ладонь, как делает рабочий, показывая крановщику, что можно поднимать груз.

Я всё понял и достал из-под стола ещё одну бутылку.

18+

**АЛЕКСЕЙ
ВАРЛАМОВ**

ОДСУН

**РОМАН
БЕЗ
ГРАНИЦ**

Лауреат премии
**БОЛЬШАЯ
КНИГА**



Горячо — холодно

Но я отвлекся, простите, я буду часто отвлекаться, болтать и сам себе противоречить. Так вот, пятый курс проходил в угаре, но не учебы — в угаре устройства жизни. Иногородние женились на москвичках, а самые продвинутые на иностранках, девицы торопились выскочить замуж, кто-то мечтал прорваться в аспирантуру, а кто-то остаться на кафедре. Меня не ждало ни то ни другое, учился я посредственно, но все равно мне было грустно уходить из университета, который я любил и всегда гордился тем, что я московский студент. Я верил, что в Москве есть только один университет, и позднее мне сделалось ужасно смешно, когда какой-нибудь институшко вдруг начинал величать себя университетом. Мне был двадцать один год, я ждал от этих цифр чего-то необыкновенного, и в голове у меня роились романтические мечты завербоваться на Север, на Соловки или на Дальний Восток, на Курильские либо Командорские острова, узнать жизнь, поработать в районной газете, поездить по стране, и, наверное, жаль, что я этим мечтам не последовал. Однако подвернулась работа в головном издательстве, дурацкая, младшим редактором, и дядюшка Александр уверил мою маму, что это шанс, который глупо упускать, — карьера, рост, перспектива.

Вы хотите узнать про моего отца? Он умер, когда я был ребенком. Меня воспитывала мама и ее братья. Матушка второй раз замуж не вышла, и я не знаю, больше ли во мне теперь благодарности или вины перед ней. Это обстоятельство, кстати, роднило нас с Петей, хотя мы о нем никогда не говорили.

Но вы опять меня перебиваете, а в ту минуту с новеньким синим дипломом в выдавшем виде дипломате я размышлял о том, как мы поедем к Тимоше на Фили, где у нашего общего друга Алеши Тимофеева была квартира в добротном кирпичном доме, принадлежавшем Западному порту, и там мы собирались отметить окончание универа. Только сначала надо было запастись спиртным, что в девяностом году было делом невыносимой сложности, ибо и водка, и вино продавались по талонам в очень немногих магазинах, так что надо было выстаивать огромные бесформенные очереди, в которых диктовали порядки шпана и алкаши.

Я уже размышлял, куда бы нам поехать: на Киевскую, Красногвардейскую или, может быть, Лодочную улицу — там был один укромный, мало кому известный магазинчик на берегу Химкинского водохранилища, куда можно было перебраться на речном трамвайчике от Речного вокзала, а дальше пройти пешком вдоль воды, — и именно в эту минуту я увидел ту девушку. Она была похожа на чью-то младшую сестру или, может быть, невесту, правда, для невесты слишком молодая, пришла, должно быть, с кем-то из тех, кто получал сегодня диплом, но стояла одна, и было похоже, что она потерялась, как теряются маленькие дети. Эта ее незащищенность напомнила мне одно мое старое обязательство.

— Ты кого-то ищешь?

Она кивнула.

— Кого?

— Вас.

Повторяю, она мне правда кого-то или что-то напоминала, но я ее, конечно, не узнал, потому что она очень изменилась, как меняются, взрослея, девочки. Я только видел, что она страшно волнуется. Это волнение ощущалось во всем. Она волновалась, как волновалось Бисеровское озеро после семи часов утра, как волновалось купавинское поле, когда дул западный ветер, то есть я хочу сказать, целиком, полностью, каждой травиночкой, былиночкой, колоском. Простите, отец Иржи, я пробовал в университете писать стихи, очень плохие, и это, может быть, не слишком удачный образ, но именно так она волновалась или, точнее, так я про ее волнение подумал. И это волнение странным образом притянуло меня к ней. Так волнуются, еще может быть, перед экзаменами. И мне сделалось смешно, потому что все свои экзамены в жизни я сдал и больше никогда не буду учить вопросы и вытягивать билеты.

А она вздохнула, опустила голову, и я почувствовал, догадался, что если сейчас уйду, то эти прекрасные глаза наполнятся слезами, простите. Но я и не хотел уже никуда уходить.

— Может, вам подсказать? — спросила она упавшим голосом.

— Что?

— Ну там, горячо — холодно.

Я пожал плечами и сказал первое, что пришло на ум:

— Костер.

— Холодно.

— Картошка.

— Еще холоднее.

— Стройотряд?

— Нет.

— Общага.

— Холодно.

— Поход?

— Холодно.

— Осень.

— Холодно, холодно, — говорила она с каким-то невообразимым отчаянием, и правда, холодом пахнуло посреди жаркого душного летнего дня. А потом незнакомка так порывисто взмахнула рукой, что я схватил ее за тонкое запястье, чтобы она не улетела, и эта порывистость опять же мне что-то напомнила. Но я все равно ее не узнавал.

— Метро.

— Холодно.

— Сессия.

— Холодно.

— Сплав. Байда. Рыбалка. Сачок. Колок. Портвейн. Буфет. Красновидово. Азау. Третье ущелье. Сандал. Античка. Старослав. Истграм. Инстаграм. Поцелуй. Тысяча поцелуев, моя Лесбия.

— Холодно, — и тут она так глянула, что меня как будто дернуло током.

Я огляделся по сторонам — мы начали привлекать внимание.

— Ладно, давай по-другому. Ты меня давно знаешь?

— Да.

— А я тебя?

— Тоже.

— Я тебя раньше видел?

— Не видели, — согласилась она. — Потому что было темно.

— А ты меня?

— Много раз.

Она была так красива, так притягательна, и столько девичьей, женской прелести в ней было, что я оторопел. Платье на ней было светлое, легкое, оно просвечивало, но не вульгарно, а чуть-чуть, так, что можно было толь-

ко догадываться о юном, гибком теле под ним. Я опять подумал, что эта девочка ошиблась, перепутала меня с кем-то, и мне стало ужасно обидно.

Нас обгоняли знакомые и незнакомые люди, на меня поглядывали с интересом мои нарядные, накрашенные сокурсницы, — надо было отойти, подняться или спуститься, чтобы уступить им дорогу; подскочил озабоченный, толстогубый Тимошка, похожий на зеркального карпа из прудов бисеровского рыбхоза, и, намеренно не глядя на девушку, показал мне на часы, но время я знал и без него и все равно не мог сдвинуться с места: пропадал, растворялся в этих черных смеющихся глазах, еще не знавших наслаждения своей силой, смущенных, довольных, виноватых, — в ней не было ни тени усталости, разочарования, жеманности или кокетства.

— Это было в Москве?

— Нет.

— В поезде?

— Нет.

— В самолете?

Она опять покачала головой:

— Я никогда не летала на самолетах.

— Я тоже.

— А зачем тогда спрашиваете?

«Ну же, ну же, вспоминай», — умоляли, плакали и смеялись глаза с дрожащими ресницами.

— А ты точно меня ни с кем не путаешь?

— Нет.

— Тогда скажи где.

— В Крыму.

В Крыму я был единственный раз в жизни, что значительно сужало поиск, но все равно вспомнить не мог.

— Пепито комэ лос пепинос, — неуверенно прошептали пунцовые нецелованные губы.

Я выкатил глаза — неужели это была?..

Комитет молодежных организаций

Простите, что я снова пью и плачу, иерей Иржи. Наверное, я действительно постарел, потому что сделался слезлив и сентиментален. Уже поздно, но не уходите, пожалуйста, а лучше позовите матушку Анну, может быть, она тоже послушает мой рассказ и станет ко мне чуть добрее. Ведь это правда, что я бесправный беженец и очень неаккуратный и, похоже, весьма бестактный, невоспитанный человек, но я никого не отравлял, не преследовал и не сделал никому ничего плохого. И скажите ей, что Крым у Украины мы не украли, — слышите ли вы эту чудную аллитерацию и сохранится ли она в переводе на чешский? — ибо как можно украсть у самих себя наше общее место, где я впервые с Катериной увиделся?

Только поклянитесь мне, хоть я и знаю, что клясться у вас, у попов, не принято, пообещайте мне тогда, что никогда вы не обратите против меня то, что я вам сейчас расскажу.

...Ровно за четыре года до этой встречи я сидел на десятом этаже стекляшки на кафедре античной литературы, пытаюсь пересдать латынь Зиновьевой, и, подглядывая в шпаргалку, канючил «Вивамус меа Лесби, атква-мемус». Это был мой единственный хвост. Я не умел учить мертвые языки. Живые кое-как мог, но к мертвым

не лежала моя душа, и никакой красоты и гармонии я в них не обретал. А у Зиновьевой не лежала душа ко мне. Она невзлюбила меня с того раза, когда на ее вопрос, как переводится *memento mori*, я ответил:

— Не забудь умереть.

И теперь ее раздражало все: духота в аудитории, пыль, ее вчерашний разговор с заведующей кафедрой, ленивые аспиранты, пожилой муж, курсовые работы, пересдачи и, наконец, мое неумение отличить аккумулятивус кум инфинитиво от аблативус абсолютус. А кроме того, Зина обожала Катулла и мечтала поехать на озеро Гарда, где у ее античного божества две тысячи лет тому назад была вилла, но в большом парткоме опять отказали, хотя приглашение от Болонского университета приходило каждый год.

— Слушай ты, дубовая роща, если ты будешь выдавливать из себя стихотворение о любви, как прыщ, у тебя ничего не получится с девочками.

Прыщей у меня сроду не было, а дубовой рощей она звала всю нашу идеологическую группу, куда набрали одних парней с рекомендациями из райкомов комсомола, сделав для нас отдельный щадящий конкурс. И кто мы были после этого, как не дубы?

— Выучишь и придешь через три дня.

И ушла, уверенная в себе, женственная, носительница латыни и древнегреческого, как жрица храма не знаю кого, Аполлона, Артемиды, Афины Паллады, презиравшая все, что произошло с человечеством после разрушения Рима варварами, один из которых сидел перед ней.

А я поплелся по коридору. Я знал, что у меня не получится выучить стихотворение про прекрасную Лесбию и ее поцелуи, не получится запомнить дурацкие латинские конструкции и падежи, вряд ли меня за это вышибут из универа, но я точно останусь без стёпы, а эта стёпа долгая, с летними месяцами.

В учебной части не было никого, кроме маленького, очень живого ясноглазого человечка по имени Тиша Башкиров. Он посмотрел на меня с чрезвычайно озабоченным видом.

— Ты из какой группы?

— Испанской.

— Звонили из КМО.

— Откуда?

— Хлебалин заболел корью.

— Прививки надо вовремя делать.

— Он работал с делегацией перуанских партизан. Завтра в семь они вылетают в Симферополь, а оттуда едут в «Кипарисный».

— Корь заразна, у детей инкубационный период, и их надо посадить на карантин, а у меня латынь через три дня. Поцелуемся, моя Лесбия, не забудь умереть...

— За детей не переживай. А латынь, если полетишь вместо него, я тебе обеспечу.

Ясноглазый Тиша ведал в профкоме дефицитом, и у него были рычаги воздействия даже на неподкупную Зину.

Партизанская делегация состояла из трех человек: двух братьев десяти и двенадцати лет и их руководителя — плотного, крупного парня, моего ровесника, с маленьким смуглым лицом и курчавыми волосами. Он спустился с Анд и через месяц собирался туда вернуться. В Советский Союз Хосе Фернандес поехал, чтобы посмотреть на страну развитого социализма и подлечить желтые от кожи зубы. Второе ему удалось, а вот СССР партизану не понравился абсолютно.

— Это не общество потребления, это общество суперпотребления, — проворчал он, отдавая меня зловонным дыханием, и стал рассказывать, как ходил в «Березку» покупать сувениры и как его там ободрали, потому что иностранец.

Как липку, хотел тупо сострить я, но у меня не хватало знаний, чтобы перевести для него нехитрую игру слов. К тому же я не был уверен, что правильно его понял, ибо внучка испанской эмигрантки из Сантандера Елена Эммануиловна Винсенс учила нас в университете благородному кастильскому наречию с выговариванием всех положенных звуков, дифтонгов и согласованием времен, а у Фернандеса в его гнилом рту была каша и грамматика в принципе отсутствовала. С мальчишками было чуть полегче: корь к ним, по счастью, не пристала, сами они оказались очень сообразительными, быстро освоились в отряде, объяснялись с водителями и другими детьми жестами, потом скоренько освоили языковой минимум, вплоть до площадных слов, и я им, в сущности, был не нужен.

Несколько дней я вообще не понимал, что от меня требуется и зачем сюда привезли. Я был второй раз в жизни в пионерском лагере, но от первого осталось такое отвратительное воспоминание, что и теперь я с ужасом и состраданием смотрел на детей, которые ходили в одинаковой форме, жили по распорядку, играли в вышибалы, отправлялись после обеда спать, это называлось у них «абсолют», и пели хором «Вместе весело шагать по просторам». Однако оглядевшись, я понял, в какую лафу попал сам.

Переводчики в лагере жили вольготно, просыпались, завтракали, обедали и ужинали, когда хотели, днем писали пулю, а после отбоя собирались в беседке, пили крымское вино, слушали музыку, танцевали или шли на берег, разжигали костер, варили мидий и рапанов, купались в чем мать родила, а потом делились на парочки, причем всякий раз новые. Это было похоже на игру «Ручеёк», нравы были вольные и незамысловатые, никто никому ничего не обещал, но Зина мне как ведьма наколдовала. Меня здесь не принима-

ли, как когда-то в нашу компанию мы не принимали Петю. Точнее, принимали, но с насмешкой. Я был всех моложе, а выглядел и вовсе ребенком, так что вожакие удивленно на меня смотрели, когда я попадался им после отбоя: из какого отряда и почему не в форме и не в постели?

Я страдал по всем пунктам. Милосердный столичный народ, старшекурсники и аспиранты из иняза и МГИМО, владеющие разными языками от хинди до иврита, надо мною стебались, как издевались мы опять же над бедняжкой Петей. А та, на которую я смотрел больше других (она работала с югославами и держалась крайне надменно), исчезала в ночи с кем угодно, только не со мной. Чем меланхоличней я на нее тарасился и пытался смешно ухаживать, тем откровенней, назло она меня отталкивала. А потом закрутила роман с моим героическим партизаном, причем, поскольку испанского Даша не ведала, Хосе Фернандес потребовал, чтобы я до определенного момента переводил, после чего по его знаку проваливал. Не знаю, как она терпела его бойцовские ароматы и чем он запудрил ей мозги, но я был в бешенстве и печали, бродил вдоль моря, швырял камешки, искал куриных богов, ловил скорпионов, тарасился на звезды, рифмовал море и горе и однажды услышал, как на лавочке кто-то плачет. Тихо, безутешно, всхлипывая и глотая слезы.

Сначала я даже не понял, кто это — мальчик или девочка. Коротко стриженные волосы, белая рубашка, выделявшаяся на черном фоне, — ребенок, подросток, чадо. Только довольно полное. Я подошел ближе.

— Ты что здесь делаешь? Почему не спишь? — я попытался придать строгости своему голосу, и тогда — матушка Анна, спасибо, что вы пришли! — пухлое дитя заплакало еще сильнее, как если бы мое присутствие освободило его от необходимости таиться.

Пепито ест огурцы

Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, пионерка даже не старшего, а среднего отряда. Признаться, я испугался и хотел поскорей уйти — а если нас вдруг увидят, то что подумают? — но она вцепилась в меня и не отпускала.

— Они не хотят со мной дружить, — прорыдала девочка.

— Кто?

— Дети.

— Почему?

— Говорят, что я заразная.

— Чем ты заразная? Что за глупости, тут всех проверяют, — возразил я, а сам подумал, что над ней смеются из-за бочкообразной фигуры и тебе надо просто поменьше, дитятко, кушать.

И она как будто это поняла и посмотрела на меня с укором — во всяком случае так мне почудилось в той зыбкой крымской тьме.

— Они говорят, что я радиоактивная.

— Какая? — я вытаращил глаза, среагировав сначала на слово «активная», ибо с детства терпеть не мог пионерских активистов.

— Я из Припяти, — всхлипнула толстушка.

Я вздрогнул. Это было лето восемьдесят шестого года. О чернобыльской катастрофе говорили постоян-

но, боялись страшно, проверяли щитовидку, мазали себя йодом и пили красное вино, но впервые я увидел человека оттуда. Она была беженка, отец Иржи, как и я теперь, и что-то заискрилось между нами, что-то похожее на человеческую солидарность. И мой голос, и мое перехваченное сочувствием горло, и мурашки на коже — все это побежало от меня к ней как электрический ток. А девочку прорвало, она стала рассказывать, как они хорошо, как весело в этой Припяти жили, а потом все разом кончилось, и воскресным утром — замечу при этом, матушка Анна, что авария случилась в ночь на субботу и весь жаркий субботний день дети ходили в школу и играли на улице, — и только в воскресенье всех жителей собрали во дворе, велели взять с собой документы и запас продуктов на три дня и садиться в автобусы. Они уезжали, уверенные, что вернуться домой очень скоро.

Тут девочка опять разрыдалась и плакала очень долго. Внизу плескалось море, далеко на берегу развели костер мои старшие друзья и варили мидий, а я должен был утирать слезы несчастной девчонке, у которой в квартире навсегда остался кот Снежок, и этот кот якобы уже за три дня до аварии вел себя очень необычайно и бросался на стены, а до этого был такой ласковый и послушный...

— Нас привезли в Фастов, и там мальчишки орала, чтоб мы убирались вон и швыряли камни в автобус. Милиция смотрела и не вмешивалась. А потом нас всех отправили в больницу на осмотр. Сначала мы долго ждали, а когда я зашла в кабинет, то врачиха в маске старалась от меня подальше держаться, будто я крыса какая-то. И вообще они там все злые были. А одежду нашу всю забрали, выдали ужасные пижамы и волосы состригли. А у меня волосы были густые, длинные.

Я достал сигарету и закурил.

— А мне можно? — попросила она.

— Маленькая еще.

— Я уже пробовала.

Я обнял ее, и она затихла, согрелась под моей рукой. Так мы сидели не знаю сколько времени. Ночь была хорошая, пряная, южная; в третьем часу костер погас и над морем встала ущербная луна.

«А вдруг она действительно заразная?» — мелькнула в голове подлая мысль, но я еще крепче прижал ее к себе.

— А какой у нас был город, какая школа... Я до сих пор поверить не могу, что туда не вернусь. А они стали говорить, что все правильно, вот мы так хорошо жили, все у нас было, а теперь пусть мы поживем плохо, потому что это справедливо.

Она подняла на меня глаза, они были огромные, влажные, взрослые и блестели в темноте, и в них отражалось море со звездами:

— А вы тоже так считаете?

— Нет. И ничего не бойся. Я с этими козлами говорю.

— Нет, не надо. Не выдавайте меня, не надо, пожалуйста, ни с кем ни о чем говорить. Обещаете? Лучше научите меня испанскому.

Я растерялся.

— Как же я тебя научу за пять минут?

— Ну какое-нибудь предложение.

И тогда я сказал фразу, которой нас научила прекрасная Елена, когда мы отработывали на фонетике звук [p]:

— *Pepito come los pepinos.*

Девочка несколько раз повторила ее.

— Ну всё, я пойду, вы только не выдавайте меня, пожалуйста.

Она порывисто, очень порывисто для своей тучности вскочила и исчезла в ночи, а мне сделалось ужасно

грустно, и собственная печаль показалась такой мелкой, незначительной... Я пытался в оставшиеся несколько дней найти эту девочку среди сверстниц, но все они были такие похожие в этих синих шортах и белых блузках, и крупных, рано созревших среди них тоже было немало, — в ответ на мои взгляды отроковицы либо смущались, либо начинали глупо хихикать, а спрашивать у вожатых, кто там из Припяти, я не стал: в конце концов, я дал ей слово. Но не забывал про нее, и когда смотрел по телевизору или читал в газетах про Чернобыль, то вспоминал девочку, ни чьего имени не знал, ни лица толком не разглядел — только помнил голос, недетские глаза и тихий сдавленный плач.

И вот теперь она стояла передо мной. Или не так. Передо мной стояла, матушка Анна, необыкновенно красивая, стройная девушка с длинными, густыми каштановыми волосами и очень живым, полным прелести открытым лицом. Она была ужасно похожа и не похожа на рыдающую в Артеке толстушку, и я еще не знал, как окажется переплетена с ней моя жизнь, но знал, что ничего более прекрасного и значительного в этой жизни уже не будет.

Одиннадцать одиннадцать

Конечно, это я сейчас для красоты так говорю, ни о чем таком я в ту пору не думал. Просто жил себе и жил. Но ни на какие Фили я, разумеется, не поехал, и мы пошли с этой чудной девочкой мимо главного здания гулять по Воробьевым горам, спустились к реке, и я важничал, как если бы университетские уголья принадлежали лично мне, как маркизу Карабасу. Я правда очень любил эту местность, старался произвести на девушку впечатление и чувствовал, что мне удастся. Не помню уже точно, что я ей тогда рассказывал, но у всякого человека в запасе много историй, которые можно рассказать, а особенно когда тебя слушают так внимательно, упоенно, как слушала меня она и не слушал прежде никто другой.

Да, представьте себе, дорогие мои, хотя вам и трудно в это поверить, но мне почти никогда не давали в нашей компании голоса. Считали человеком неразговорчивым, неинтересным, да, наверное, я таким и был, но иногда мне очень хотелось поговорить, рассказать, найти того, кто станет тебя слушать и простит, если ты говоришь нескладно, коряво, путано, повторяясь, но зато искренне, от сердца. А Катя не верила, что все происходит наяву и она гуляет по Москве с большим мальчиком, о котором мечтала все эти годы.

Это могло показаться и до сих пор кажется мне странным, но впоследствии Катерина рассказывала, что я даже не представлял себе, как много значил для нее тот разговор на берегу моря, как он поддерживал ее, когда они поселились в Белой Церкви, где на приезжих смотрели косо, ибо квартиры, которые им дали, предназначались людям, давно ожидавшим своей очереди на жилье. И эта враждебность, злость, жестокость, оскорбления, каких, может, в действительности было не так уж и много, — все умножалось в ее голове. Новая школа, одиночество, отчаяние, да и люди были там по характеру совсем другие, чем в Припяти, — а потом еще умер от лейкоза, а на самом деле от горя и несправедливых обвинений ее отец, — все это она пережила лишь потому, что запаслась крымским воспоминанием и оно ее поддерживало, спасало, превращаясь в яростную мечту о нашей встрече.

— Когда мне бывало очень одиноко, я все время повторяла то по-русски, то по-испански: Пепито ест огурцы, Пепито ест огурцы. И представляла тебя.

Признаюсь, я засомневался и подумал, что если живешь такой воображаемой влюбленностью, то можешь очень сильно разочароваться, увидев предмет своего обожания наяву. Но, должно быть, у девочек это происходит иначе или же Катя моя была исключением. А может быть, я был в ту пору не так уж и плох, не знаю, но впервые в жизни я шел с девушкой, не испытывая неловкости, не думая о том, что я непривлекателен внешне, и одет бедновато, и неостроумен, и не обаятелен. Я про все про это забыл.

Мы протопали черт знает сколько километров по набережной Москвы-реки до Парка культуры и дальше через мое любимое пустынное Остожье с его выселенными домами и заброшенными неряшливыми особнячками, мимо бассейна «Москва» — его тогда еще

не закрыли — к Кремлю и Красной площади и дальше через Зарядье в сторону Ивановской горки. Стало совсем темно, но мне не хотелось с Катей расставаться и нравилось, что она по-прежнему смотрит на меня с восхищением и я не кажусь ей смешным, глупым, инфантильным, в чем щедро обвиняла меня аспирантка Валя Макарова, с которой мы иногда встречались у нее дома, когда Валины родители куда-нибудь сваливали.

— А если ты настоящий мужик и хочешь чаще, сними квартиру, — внушала мне аспирантка.

Но хорошо ей было так говорить...

— У тебя болезнь века — недорослизм, — ставила она мне диагноз, перед тем как перейти к заключительной части нашего свидания, а я возражал, что мне не нравится это слово.

— Оно плохо состыковано. Корень русский, суффикс иностранный.

Валечка считала себя знатоком русского языка и оттого раздражалась и оскорбляла меня еще пуще, отчего я и дальше чувствовал себя не вполне уверенно. И как же хорошо мне было теперь, когда я болтал всякую чепуху и не думал о своей инфантильности.

Стрелка на моих внутренних часах приблизилась к половине первого, и пришло время прощаться с девочкой из Чернобыля, а прощаться ну совсем не хотелось, и тогда я сказал:

— А поехали, пока метро не закрылось, на Фили. Народ там до утра гудеть будет, — и представил себе, как мы приезжаем с ней на Новозаводскую, и как на нас посмотрят, и все станут мне завидовать, а наши спесивые девки утрутся, но она покачала головой.

— Да не бойся ты, они классные ребята, поедим там чего-нибудь, вина попьем. Ты же голодная, — вспомнил я, потому что и сам почувствовал голод.

— Нет, — и помню, как меня удивила твердость ее возражения.

— Тогда... — я закрутил головой по сторонам и выпалил: — А давай тогда — в Купавну!

Она не стала спрашивать, ни что это такое, ни где находится, ни сколько и на чем туда ехать и кто там живет. Она как будто только и ждала того волшебного слова.

Курский вокзал был совсем недалеко, Катя успела позвонить тетке, сказать, что домой не придет, и быстро-быстро повесить трубку, и мы побежали на последнюю захаровскую электричку, которая уходила ровно в час ночи. В вагоне, кроме нас, никого не было, мы молчали, потому что обоим вдруг стало понятно, что мы перешли черту, за которую уже нельзя вернуться, и, согласившись поехать с полужнакомым парнем к нему на дачу, она лишала себя возможности отступить, а я брал на себя ответственность за ее согласие. И когда мы вышли на пустую, еле освещенную платформу и зашагали по дороге моего детства мимо круглой станционной пивнухи вдоль однопутной железной дороги, мимо участков Минвуза, ЗИЛа, общества слепых, химиков и энергетиков, вдоль березовых холмов у дач имени 800-летия Москвы, когда шли краем прокурорского поля, не касаясь друг друга, по всему этому темному, моему родному, теплому, гулкому пространству, где я нашел бы дорогу с завязанными глазами, то ни о чем не говорили.

Я никогда не забуду, матушка Анна, ту ночь. Она была облачной, беззвездной и какой-то особенно густой, будто не конец светлого июня, но август стоял на земле и кто-то задвинул над нами полог, чтобы тьма длилась дольше положенного.

В дачном домике было тепло и тихо. Пахло сухим деревом, мотыльками и старыми газетами. Я включил свет на террасе, несколько бабочек и малярийный ко-

мар забились в стекла и внутри абажура. Мы были страшно голодны, но, к счастью, в шкафчике нашлись сухари, а в подполе консервы и прошлогоднее сладкое вино из черноплодки и малины, которое делал дядюшка. Я нарвал в ночи зелени, лука, первых огурцов и последней редиски, Катя пожарила на сковородке тушенку, а после легла со мной так просто, как если бы мы были мужем и женой. И все, что произошло между нами на кровати, где я засыпал ребенком, где просыпался и звал бабушку, когда мне становилось страшно, где я вырослел и мне начали сниться стыдные сны, — все было невыразимо трогательно и, странным образом, бестелесно. Телесность, чувственность пришли позднее, а тогда мы просто понемногу узнавали друг друга.

Да, матушка, не знаю, как у вас, а у нас в те времена завоевать любовь девушки, добиться близости с ней было не так уж просто, здесь требовалось время, терпение, уважение, и каждая девушка сама для себя определяла, когда это может произойти. Тогда у девочек еще были — не знаю, как это правильнее сказать, — понятия о чести или предрассудки, но мало кто рискнул бы согласиться на такое на первом свидании, а тем более если это случается с тобой в первый раз. И то, что Катя с такой легкостью, ни в чем не сомневаясь, мне доверилась, показалось мне невероятным даром, чудом. А может быть, ничего странного здесь и не было — ведь она ждала этой ночи четыре года, и я уж точно не был для нее случайным человеком. Но только и у меня, отец Иржи, тоже было ощущение, что со мной все произошло впервые, а если что-то и бывало раньше, то лишь для того, чтобы я не тыкался, как слепой котенок.

Утром я проснулся поздно, когда солнце на стене моей комнаты показывало одиннадцать часов одиннадцать минут. В доме было тихо, и никого не было рядом со мной. Я испугался, что случившееся ночью было

Часть первая. КУПАВНА

лишь сонным видением, вскочил и в одних трусах выбежал в сад. Стояло нежаркое позднее утро, посреди огорода, опершись на лопату, возвышался мой дядюшка, приехавший из Москвы на последней электричке перед дневным перерывом, и что-то оживленно Кате рассказывал. Давно я не видел его таким довольным. А она сидела на корточках в моей клетчатой дачной рубашке, быстрыми ловкими пальцами прореживала морковь и смеялась. Она была настоящая хохлушка. Надеюсь, это звучит не обидно?

Неразумные

Матушка что-то быстро спрашивает у мужа, тот так же быстро отвечает, и на этот раз я не понимаю ни слова. Но похоже, это связано с возможными сельскохозяйственными работами на их участке. Что-то вроде того, где бы им найти такую же расторопную трудолюбивую украинку, потому что от этого бездельника толку все равно никакого. В душе я с ней соглашаюсь, но, поднимаясь к себе наверх, думаю о том, что хотя бы чуть-чуть загладил вину и заработал себе, как Шахерезада, право находиться здесь еще одну ночь. Смотреть дальше я боюсь. Я всегда жил, ни на что не рассчитывая и не думая о будущем. По-английски это звучит очень коротко: *save tomorow for tomorow*. Во всяком случае именно так пели в рок-опере «Иисус Христос — супер-звезда», которую в школьные годы я слушал часами. По-русски выходит длиннее: не заботьтесь о дне завтрашнем, ибо завтрашний день сам о себе позаботится. Но, правда, и деньги, и карьера, и успех — всё это были для меня бранные слова, и, может быть, поэтому я оказался никому не нужен в родной стране в ее другие времена, как не нужен никому сегодня в чужой.

А впрочем, в моем нынешнем убогом и непрочном существовании всё не так уж и плохо, одно только меня огорчает: здесь нет книг на русском языке. То есть,

может быть, где-то — в библиотеке или в местной школе — они и есть, но идти мне туда ни к чему, а в доме у священника ни одной. В гостиной, правда, стоит книжный шкаф. Половина его открыта, а вторая закрыта на ключ. Что там находится, не знаю, но в открытой части чешские книги, и я страшно скучаю по нашему круглому шрифту, по милой моей кириллице. Ей-богу, впору начать писать лишь для того, чтобы было что читать.

Чтение для меня с детства занятие физиологическое, я не могу даже спокойно есть, когда у меня перед глазами нет написанных слов. Говорят, это вредная привычка, а я без книги скучаю, томлюсь, злюсь. Как можно заснуть, не прочитав что-нибудь на ночь? Или, наоборот, не взять книгу, среди ночи проснувшись? И оттого теперь мне так неуютно, тоскливо, пусто. Наверное, надо было бы взяться за изучение чешского языка, но я чувствую, что это мне уже не по силам. Языки надо учить в юности.

Единственная кириллическая книга, которая мне в этом доме доступна, — Библия. Она, правда, на старославянском, по которому, как и по латыни, у меня был в универе твердый неуд, и только снисходительное отношение добрейшей Марины Максимовны к дубовой роще превратило его в неверный уд, но все же читать Евангелие я могу, и странное чувство вызывает у меня эта книга. Я прочитал ее впервые очень поздно, когда уже учился в университете. До этого только мечтал, как о какой-нибудь «Лолите», но даже ту найти было проще. Библия несла печать запрета, о ее содержании я мог лишь гадать, и кто такие Христос, Пилат, Иуда, Мария Магдалина и апостолы узнавал из той же рок-оперы. Но когда с сигаретой во рту я впервые прочитал Евангелие, оно меня поразило. Триллер, драма, психологи-

ческий детектив. Теперь мне стыдно про эту сигарету вспоминать, и едва ли я признаюсь в ней отцу Иржи, однако, когда я перечитываю знакомые сюжеты, мне хочется не то чтобы с ними спорить, а тянет задавать вопросы.

Вот, например, притча о блудном сыне. Меня всегда задевала в той истории участь старшего сына. Мне его почему-то ужасно жалко. Хотя по своей судьбе и по грустными итогам моего полувека я куда больше похожу на его непутевого младшего брата, я все равно хорошо понимаю обиду первенца, которая и в самом Евангелии высказана очень отчетливо и даже нарочито, намеренно подчеркнута. Так что, строго говоря, это притча не о блудном сыне, но о сыновьях и братьях вообще.

Старший ведь и вправду очень и очень обижен на своего отца. И это справедливая обида. В самом деле, если много лет он усердно служил отцу и ни в чем не смел ослушаться, то почему не заработал даже малейшей похвалы и награды? Или это, как и многое в Новом Завете, скрытая полемика с Ветхим, с книжниками и фарисеями, которые не такие, как этот мытарь? Но ведь, кстати, и с фарисеем всё не так однозначно, как кажется. Все привыкли порицать его за то, что он похваляется своими добродетелями, но пусть критики скажут, постятся ли они столько же, сколько он, сохраняют ли целомудрие, наконец, приносят ли каждый месяц в храм десятую часть своей зарплаты? Я таких не знаю. Да и в Евангелии разве фарисей осуждается? Там сказано лишь то, что он выйдет менее оправданным, нежели мытарь. Менее оправданным, но вовсе не осужденным, и то лишь потому, что поступки фарисея ожидаемы, а мытаря нет. Но это хорошо один раз прийти в храм и покаяться, а дальше что с мытарем будет? Опять станет грешить, обирать простой народ и бить кулаком

себя в грудь, какой я сякой? Или сам превратится через год в фарисея?

Мне нравится размышлять на эти темы. Возможно, потому, что Евангелие так устроено: в нем грешник всегда лучше праведника, блудница — тех, кто ее побивает, самаритянка — иудеев, заблудшая овца — овец послушных; даже закатившаяся монетка стóит вопреки всем законам арифметики дороже девяноста девяти. По сути, это бунтарская, мятежная, революционная книга. За исключением одной истории — притчи о мудрых и неразумных девах. Я ее не понимаю. Вернее, даже не так — я ее не принимаю. В самом деле, так ли уж велик проступок пятерых девушек, у которых не оказалось масла, чтобы навсегда оставить их за дверью брачного пира? И разве их боголюбивые сестры не могли с ними поделиться? Ведь нас с детства учили: надо делиться с другими тем, что у тебя есть. Неужели бережливость мудрых не противоречит евангельской заповеди о любви к ближнему?

О да, конечно, на эту притчу наверняка есть толкование и под девами надо разуть то-то и то-то, а под маслом что-то еще, но я так устроен, что понимаю все буквально: девчонки, вам правда жалко было масла для своих подруг? Или вы не догадывались, чем они рискуют, уходя в ночь? Как вы могли их отпустить и неужели будете с чистым сердцем ликовать и праздновать на пиру с женихом, зная, что из-за вашей скупости — ну хорошо, пускай осмотрительности и мудрости — кто-то остался в беде? Да лучше бы вам всем этого масла не хватило! И я вам больше, девочки, скажу: если бы вы, мудрые, попали в беду, то те, глупые, вам бы помогли, не оттолкнули, потому что они грешнее, а значит, и добрее вас.

Зато история с благоразумным разбойником трогательная до слез и ужасно достоверная. Есть какие-то

штрихи, детали, когда вдруг начинаешь понимать: такое невозможно выдумать и это было на самом деле. Разбойник ведь не просит у Спасителя взять его в Царствие Небесное, он даже не дерзает помыслить о таком, ибо руки у него в крови и он за дело распят на кресте. Он просит о самом малом. Ты вспомни меня, пожалуйста, когда придешь в Свое Царство. Только вспомни. И больше ничего. И за это смирение, за это малое получает большое. Но почему, если прощаются мытари, блудницы и разбойники, нет прощения пяти девушкам, вся вина которых состоит лишь в том, что у них не оказалось масла, что бы под ним ни подразумевалось?

Эти вещи меня волнуют, я верую в них, как умею, а еще мне нравится ход службы; я иногда прихожу к отцу Иржи по будним дням, когда в храме никого нет и только зеленая лягушка прискакивает из ручья, садится на пороге, но не решается его пересечь. Я стою позади и пытаюсь разобраться в том, что в храме происходит, повторяю знакомые слова, но если бы меня спросили, чего же я тогда мешкаю, почему тоже не переступаю порог и не примыкаю к верным, то я бы ответил так: мне еще рано и я жду более позднего часа. Да, конечно, тут есть риск не успеть, никто не знает, когда за тобой придут и похитят, но ведь у меня есть дар чувствовать время, и вместе с тем я думаю о рабочих первого часа, которым выпало перенести полуденный зной. А что, если у кого-то из них не хватило сил и он упал на меже? Или не выдержал и ушел в тень? Усомнился, заболел да и сбежал с этого поля? Не лучше ли в таком случае заранее обождать и устроиться на работу позднее? В сущности, это та же расчетливость, что и у благоразумных дев. Или же я опять занимаюсь самокопанием и самооправданием?

Часть первая. КУПАВНА

Жаль, что я не могу поговорить на эту тему с отцом Иржи. То есть вопросы задать могу, но получу ли я на них ответы и не выйдет ли от этого еще более худое, чем Евангелие с сигаретой? Не решит ли матушка Анна, что теперь мне окончательно нет места в их благочестивом доме с моим метафизическим бредом?

ЕВГЕНИЙ ЧИЖОВ

САМОУБИЙЦЫ И ДРУГИЕ ШУТНИКИ

ПОЧТИ ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНЬ ШУБИНОЙ



Ревность

— Ты смотри, смотри, вилок картошку ест! А ложкой ни в какую! Только вилку ему подавай! Прямо интеллигенция!

От удивления санитарка, привезшая нам ужин, даже не заметила, что другая, с которой она, показывая на меня, разговаривала, уже укатила свою тележку с едой дальше по коридору, так что ее слова обращались ко всем, кто лежал в палате, всех призывая в свидетели моей личности.

— А чем мы не интеллигенция? — бойко отозвался мой сосед Колян с вытатуированными на плече тремя куполами. — Мы самая интеллигенция и есть.

Санитарка, чернявая и смешливая чувашка или удмуртка (все они в этом отделении были такими, из одних краев, видимо, устраивались одна за другой по знакомству — веселые, разговорчивые, с масляными глазами, при этом было оче-

видно, что умри ты у них на глазах — они и бровью не поведут: привыкли, насмотрелись), не оборачиваясь на Коляна, ухмыльнулась и ответила:

— Интеллигенцию тут не ложут!

Место и в самом деле было не слишком интеллигентным: в нейрохирургическое отделение люди попадали в основном с улицы — с черепно-мозговыми травмами, полученными в драках или в результате падений и ударов головой о неизвестные твердые предметы. Интеллигенция же, как правило, не дерется, а если и дерется, то все-таки не так, чтобы приходиться в чувство в больнице после полного беспомощства с шестью швами, наложенными на бритый череп, как другой мой сосед по палате, Санек, профессиональный боксер и кикбоксер: «Семь лет на ринге», — с гордостью сообщил он мне при знакомстве. Уверенный в своем мастерстве и силе, он встал один против четверых, позарившихся воскресным вечером в глухом проходном дворе на его мобильник, и уложил бы их одного за другим, «вот чем хочешь тебе клянусь, уложил бы!», но не заметил пятого, подошедшего сзади и так вломившего Саньку по затылку, что он уже ничего больше не помнил, и на вопрос навестившего его в палате следователя, чем был нанесен удар, только пожал плечами.

— Что ж, так и запишем, — вздохнул молодой, но успевший ко многому уже привыкнуть следова-

тель, — удар нанесен неизвестным твердым предметом.

— Пиши, — не глядя на следователя сказал Санек, — все равно никого не найдете.

— Ну это мы еще посмотрим, — не слишком уверенно ответил следователь, закрывая папку с протоколом.

— Я их сам найду, — со спокойной яростью сказал Санек, когда следователь ушел, — мы с ними еще встретимся. Еще поквитаемся. Никуда от меня не денутся.

Ярость переполняла его так, что он не мог долго лежать и, хотя ему строго-настрого запрещено было вставать без необходимости, то и дело вскакивал и начинал из конца в конец мерить палату пружинистым шагом боксера. Голова опущена, лоб выставлен вперед, никого из нас не видящие глаза прищурены. Достигнув стены, он наносил ей несколько коротких ударов, а иногда посреди прохода между кроватями демонстрировал удары ногами по воображаемому противнику.

— Сань, хорош мельтешить, — лениво говорил Колян. — В глазах уже от тебя рябит. Сказано тебе лежать — лежи.

Когда Санек круто разворачивался возле моей кровати, место недавно прооперированного у меня перелома между третьим и четвертым позвонками туго стискивала боль. Я не боялся, что Санек может случайно задеть меня рукой или ногой,

которую он легко закидывал выше головы, — все его движения были отмерены точно, — но боль меня не спрашивала. Она чувствовала приближение слепого комка ярости, раскидывавшего по палате свои протуберанцы, и сжималась в ответ.

Мой позвоночник оперировали не впервые, и я к тому времени уже привык к боли, перестал заглатывать горстями вредные обезболивающие таблетки, сжился с ней, как со скверным соседом, от которого все равно никуда не деться. Я научился делить с ней свое тело: признал ее право на позвоночник и несколько нижних ребер с тем условием, что она не будет распространяться дальше и глубже, проникать в почки, пресекать дыхание, стискивать железной хваткой солнечное сплетение. Меня давно не удивляла ее чуткость к переменам погоды, которые она улавливала иногда раньше, чем за сутки, непостижимая для меня связь моего хребта с отдаленными движениями воздушных масс и маневрами атмосферных фронтов на высоте, где летают самолеты. Тем более неудивительна была способность боли реагировать на перепады настроения — не только моего, но и тех, кто был рядом, зачастую угадывая их раньше, чем они доходили до меня. Я допускал, что то, что называется метеочувствительностью, может распространяться не только на погоду, но и на климат в обществе, на все, что «висит в воздухе» — на массовое возбуждение, недовольство, тревогу, страх, — и на приближающиеся

события, меняющие этот климат. «Еще немного, — думалось мне, — и на месте перелома у меня раскроется внутренний глаз, способный через боль чувствовать грядущее. Нужно только дотерпеть».

У Коляна отношения с болью были проще, так что временами я ему даже завидовал. Он не пытался вникать в нее или договариваться с ней, как я, он давил ее в себе, стиснув зубы, и не было, кажется, такой боли, которой он не мог бы пересилить. У меня на глазах он сдирал, не морщась, присохшие ко лбу надоевшие бинты, скovyривал ногтями кровавую корку, с усмешкой рассказывал, как вскрыл себе ножом загноившееся колено и зашил потом обычными нитками — врачи только пальцем у виска крутили, глядя на его распухшую ногу: «Тебе, парень, что, жить надоело?» Санек очень переживал из-за нежелавшего проходить фингала под левым глазом, боялся не понравиться подруге, с которой подолгу разговаривал по телефону, называя ее «котенком» и «заинькой», — когда она, наконец, его навестит (она что-то не торопилась, отговариваясь экзаменами). Колян посоветовал:

— Ты его снизу бритвочкой подрежь — он вытечет и в два счета заживет. Я сколько раз себе так делал — проверенный способ.

Бритвочкой по розово-лиловому с отливом в желтизну, чуть не на пол-лица расплывшемуся синяку! Даже Санек, много чего испытывавший на

ринге и на ночных улицах, мало отличавшихся для него от ринга, все-таки на это не решался. Долго изучал себя в зеркале, поворачиваясь так и эдак, очевидно, ища ракурс, при котором синяк был бы менее заметен, несколько раз примеривался к нему бритвой, но резать все же не стал, тем более подруга в очередной раз отложила обещанный визит.

— Она же и работает, и учится, у нее времени в обрез! — оправдывал ее Санек перед нами. — Она прошлые экзамены без единой тройки сдала! Представляете? Без единой тройки!

— Угу, — негромко произнес Колян, даже не глядя на Санька, и больше ему ничего говорить было не нужно, одного этого «угу» было достаточно, чтобы дать понять, что он не верит ни в экзамены, ни в хорошие отметки — вообще ни во что.

Санек называл свою девушку «моя» и невероятно ею гордился.

— Моя не пьет вообще ни грамма! Только в праздник вина рюмку или две выпьет, а так ни-ни! Она у меня молодец!

Иногда желание похвастаться ею так его распирало, что во время разговора он прикрывал мобильник ладонью и поворачивался ко мне:

— Слышал, что говорит? Говорит, ты мой лучший подарок! Вот!

Общался он с ней по моему мобильному, собственный у него забрали, пока лежал без сознания после драки. На него же звонила она, так что

я заочно знал ее по голосу, хрипловатому и низкому, не очень подходящему под прозвища «заячка» и «киска», на которые не скупился Санек.

Всякий раз, когда он произносил что-нибудь в этом роде, Колян отворачивался к стене: сентиментальность Санька выводила его из себя. Впрочем, его раздражало не только это — после того как врачи запретили ему пить и даже курить, его раздражало практически все. Он подолгу стоял у окна палаты с видом на служебный подъезд, где люди в белых халатах устраивали перекур. Наблюдение за процессом курения, кроме зависти, видимо, само по себе доставляло ему какое-то непонятное мне, некурящему, удовольствие, потому что он часами не отходил от окна. Оно было уже задраено на зиму, но Колян утверждал, что запах табака поднимается до нашего четвертого этажа и проникает к нему сквозь стекло. Я вполне допускал, что это не было самовнушением — не у одного меня в больнице могла обостриться восприимчивость. Несмотря на косую сажень в плечах и три купола на левом (три тюремные ходки), у Коляна был маленький рот нервного человека, его тонкие губы часто брезгливо и раздражительно кривились. Способный вытерпеть любую боль, он не мог выносить скуки.

— Иногда так скучно бывает, хоть удавись, — рассказывал он, и что-то сдвигалось в его физиономии, ось симметрии съезжала со своего места, угрожая превратить его невыразительное земли-

стое лицо в плаксивую гримасу, на которую больно смотреть.

В больницу он попал после того, как ему не хватило выпитого и он догнался дюжиной пузырьков разведенного апельсиновым соком корвалола. Сердце остановилось, упав, он пробил голову и двое суток пролежал в коме, медики вытаскивали его с того света. Один молодой врач потом заходил к нему и все пытал:

— Вспомни, что ты там видел, пока в коме был? Колян пожимал широкими плечами:

— Ничего.

— Нет, ну как же, подожди... А тоннель? А сияние? Может, хоть что-то...

Он снова пожимал плечами — еще раз повторять «ничего» ему было лень.

— Многие же говорят, что видели...

— Это они так просто говорят, для интереса, — снисходил Колян до объяснения. — А ты меня слушай, я тебе правду скажу. Ничего. Тьма.

— Ну, тьма это уже кое-что, — не отставал настырный врач.

— Нет, тьмы тоже не было, — не давал запутать себя Колян. — Последнее, что помню, — как корвалол разводил. А потом уже сразу в реанимации очнулся.

Врач ушел, так и не дождавшись очередного рассказа про движение по тоннелю к далекому свету, который занес бы в специальную тетрадку в надежде опубликовать, когда их накопится до-

статочно для книжки, а на постель к Коляну подсел Санек, прислушивавшийся к разговору.

— Ты ведь его обманул? Потому что врачей не любишь, да? Потому что они тебе пить запретили? А на самом деле ты ведь видел, да?

Колян посмотрел на него со смесью брезгливости и жалости, как на больного скверной заразной болезнью, и вытащил из-под Санька свое одеяло.

— Скажи мне, я никому больше не расскажу!

— Иди вон в коридор, там поп ходит, психам сказки рассказывает, от него ты все, что тебе нужно, услышишь. А мне тебе сказать нечего.

Коридор по всей длине был уставлен кроватями. На них лежали психи — те, с кем невозможно было находиться в одной палате. До операции, пока мог ходить, я успел разглядеть многих из них: один, со стертым лицом и бессмысленно сосредоточенными глазами насекомого, разрывал на полоски пропитанные спиртом салфетки и задумчиво отправлял их в рот. Другой, выпростав из мятых простыней неожиданно темный по сравнению с желтой кожей тела длинный член, похожий на извлеченную откуда-то из глубины организма кишку, справлял в утку малую нужду, не обращая внимания на проходящих мимо сестер и санитарок. Третий, полный, седой и солидный с виду, обещал миллион наличными тому, кто его развяжет (многие были прикручены простынями к кроватям и, если их отвязывали или им это уда-

валось самим, начинали бродить по отделению, вваливаться в палаты, приставать к сестрам, иногда пытались сбежать). Ночь напролет из коридора доносились крики, не дававшие нам спать: кто звал маму, кто Свету или Олю, кто через равные промежутки времени однообразно орал: «Больно!» Ночные дежурные на это не реагировали, их было не обмануть жалобами и стонами. Впрочем, мы, лежавшие по палатам и вроде бы нормальные, тоже не могли так просто с ними связаться: над каждой кроватью был звонок вызова, и все они были надежно выведены из строя. Работа у врачей нервная, они берегли от нас свой ночной сон.

Днем по коридору и палатам сновали женщины в черном — монашки. Они помогали медперсоналу, выполняли мелкие просьбы лежачих больных. Один или два раза в день появлялся священник и отвечал на вопросы больных, рисуя им радужные перспективы близкого потустороннего будущего. «Господь наш все милостивый, — доносился до нас его ровный деловитый голос, если дверь палаты была приоткрыта, — воздаст каждому по делам его и наградит по заслугам. Молитесь, и Он услышит». Мы, правда, старались держать дверь закрытой, потому что из коридора в палату проникала жуткая вонь — многие психи ходили под себя, за ними не успевали, а скорее всего, и не пытались убирать. То и дело заходившие к нам сестры с уколами, врачи или санитарки вместе с обрывками

утешительной проповеди вносили ароматы коридорного безумия, невидимыми шлейфами развевавшиеся за ними в воздухе.

Колян и Санек были вместе со мной самыми долговременными обитателями нашей палаты, на трех других койках больные не задерживались: или, наскоро подлатанные, выходили, как говорил Колян, на волю, долечиваться дома; или, иногда так и не приходя в сознание, отвозились в реанимацию, а оттуда возвращались в другую палату, потому что их места уже были заняты следующими жертвами войны всех против всех, разворачивавшейся по пятницам и выходным на городских улицах; или отправлялись из реанимации напрямик на тот свет. Самый большой наплыв пациентов был в праздники, медперсонал просто сбивался с ног, — а после дня сотрудников МВД, который эти сотрудники отмечали, давая по обычаю волю рукам и ногам и от души оттягиваясь на подвернувшихся пьяницах, наше отделение напоминало фильм о зомби: десятки окровавленных, очумелых, не понимающих, где они находятся, людей шатались по нему, пытаясь найти выход. Даже выдавший виды Колян сказал с перекошенной ухмылкой: «Наверное, после битвы за Москву столько раненых не было!»

В один из выходных санитары привезли и сгрузили на свободную койку коренастого, почти квадратного человека с крупной забинтованной головой на короткой шее, находившегося в полной

отключке. Едва они ушли, как он, не приходя в сознание, справил под себя малую нужду. Лежавшего на соседней постели Коляна перекосило. Выругавшись, он пошел искать санитарок, чтобы переодели новоприбывшего и поменяли белье. Вернулся, конечно, ни с чем: вечером выходного дня шел непрерывный прием больных, свободных рук не было. Снова лег, отвернулся к стене, накрыл голову подушкой. Через пару минут отбросил ее, сел, с ненавистью поглядел на спящего, заходившегося судорожным храпом соседа, потом на нас с Саньком.

— Как вы тут дышать можете?! Тут же без противогоза нельзя!

— А ты через рот дыши, — посоветовал Санек. — Я вон дышу, и ничего.

— Да тебя вообще ничем не проймешь. Пробовал через рот, только хуже.

— Спрысни его дезодорантом, — предложил я. — Может, поможет.

Эта мысль показалась Коляну дельной. Он принес из туалета освежитель «Сирень после дождя» и выпустил на новоприбывшего примерно полбаллона. Густое облако концентрированного сиреневого аромата заполнило палату.

— Весной запахло... — мечтательно заулыбался Санек и попросил у меня мобильный — звонить своей девушке.

У меня от едкой химической сирени защекотало в носу, я не удержался, чихнул, и острая

боль продрала всю спину. Меня всего два дня как прооперировали, и любое резкое движение отдавалось в располосованной спине. Я перешел из разряда ходячих пациентов в лежачие, то есть целиком зависимые от медперсонала, которого было не дозваться, и от соседей по палате. К счастью, Санек с Коляном не оставляли меня своей заботой.

Особенно — в благодарность за мобильник — усердствовал Санек: приносил мне воду или чай, регулировал и менял капельницы, из которых с утра до вечера сочились по трубкам в мой загноившийся организм целебные питательные растворы.

Не успело облако сирени рассеяться, как с нашим новым соседом стало происходить что-то странное. Его храп прекратился, сменившись глубокими булькающими звуками, заставлявшими грудную клетку ходить ходуном. Затем тяжелая голова приподнялась вместе с верхней половиной туловища, хотя глаза оставались закрытыми, он как будто пытался встать с кровати, начал спускать вниз ноги, вытянул вперед руки... Потом руки и ноги затряслись крупной дрожью, точно он вцепился в оголенный провод, — усилие преодолеть чудовищную тяжесть, вминавшую его в постель, перешло в конвульсии. Несколько минут он молча боролся, упрямо наклонив перебинтованную голову, весь беззвучно трясясь... Но сила тяжести победила, бросила его обратно на спину,

он выгнулся и захрипел, раздирая вздувшееся горло сильным утробным рычанием.

— Что это с ним? Что это, а? — Санек надеялся, что мы с Коляном, старшие, знаем больше него. — Побегу за врачами.

— Похоже, концы отдаёт, — сказал Колян.

На губах у хрипевшего стали надуваться кровавые пузыри, видно, он прикусил язык, и рот наполнился кровью. Темные, почти черные струи потекли с губ на подбородок, оттуда на шею и на подушку. Он больше не пытался подняться, только руки тянулись, вслепую шаря вокруг, хватая наугад воздух. Пальцы стискивались в кулаки, как будто он грозил нам напоследок. Глаза были по-прежнему закрыты, во всех движениях не было заметно и проблеска сознания, его жизнь хрипела, рвалась и металась в нем сама по себе, ища выхода, спасения из гибнущего тела.

Я наблюдал за конвульсирующим напротив меня человеком со странным спокойствием. После операции, когда отошел наркоз, меня всерьез волновало только одно: найти такое положение, в котором я чувствовал бы меньше боли. Боль привязывает к себе и отделяет от внешнего мира непроницаемой, хоть и прозрачной стеной. Сквозь нее видны все детали, но не проникают искажающие картину и замутняющие взгляд эмоции. Человек, испытывающий боль, — идеальный наблюдатель.

Когда пришел врач, хрипевший почти затих, только голова тяжело перекатывалась по залитой кровью подушке. За врачом вкатили носилки два санитары, один из них повел носом:

— Аромат у вас тут...

Он потом рассказал Саньку, а тот мне, что до реанимации они нашего недолгого сопалатника не довели: на полпути стало ясно, что нужно заворачивать в морг.

Запах сирени еще долго оставался в воздухе, не желая смешиваться с другими запахами палаты, сопротивляясь вторжениям коридорной вони. Но теперь он был еще хуже ее, слащавый и едкий, он неотступно напоминал о смерти, случившейся у нас на глазах, не давал забыть о ней. Он проникал даже в сны, если мне удавалось заснуть. Мне тогда часто снилось, что я спасаюсь бегством: уйду от опасности, из больницы или из заключения, но, прежде всего, бегу из своего теперешнего переломанного, бревном лежащего тела в старом, целом и невредимом, полностью мне послушном. Быстро прохожу ночными больничными коридорами мимо умоляющих развязать их, тянущих ко мне руки психов, затем пробираюсь через морг с шевелящимися, бормочущими покойниками, спешу по темным пустым улицам, оборачиваясь на ходу, ожидая погони, и, наконец, попадаю в густую сирень, из которой нет выхода, отталкиваю от лица тяжелые черные грозди, задыхаюсь в вяз-

ком запахе, бесповоротно теряюсь в благоухающих смертью зарослях...

— Эй, хорош орать-то! — услышал я раздраженный окрик и не сразу узнал голос Коляна.

— Что? Что? Я кричал?

— Еще как! То психи в коридоре надрываются, то еще ты теперь — уснешь тут, как же!

— Ну, извини, извини! Я же не нарочно. Пришлось...

На следующий день на освободившееся место привезли высокого грузного старика. Он был в сознании, но как будто заранее на всех обижен, и, не желая ни с кем разговаривать, молча лег и отвернулся к стене. Никто и не собирался навязывать ему общение, но всякий новоприбывший вызывал повышенный интерес: нужно же было понять, чего от него ожидать. Грузный старик казался угрюмо погруженным в себя, равнодушным к окружающему. В конце концов, возможно, он просто хотел спать. Скоро мы перестали обращать на него внимание, нам хватало своих забот.

Санек слонялся по палате в недоумении и растерянности: его «котенок» перестала отвечать на звонки и подходить к телефону. Как всегда, он с готовностью посвящал нас с Коляном в свои сомнения:

— Почему она не подходит? Может, мобильный дома забыла? Но тогда его кто-нибудь другой взял бы, у нее дома народу полно. Или у нее экзамен сегодня? А на экзамене мобильники, конеч-

но, нужно выключать. Только что-то про экзамены она мне не говорила...

Невыспавшийся и злой с недосыпа Колян насмешливо слушал эти мысли вслух, потом небрежно, точно не Саньку, а самому себе, сказал:

— Да нужен ты ей... Давно уж себе кого получше нашла.

Ожидавший от нас поддержки и ободрения Санек ошеломленно застыл:

— Да ты что?! Ты что говоришь-то?!

— Ну ладно, ладно, может, еще не нашла. Но скоро найдет, можешь мне поверить.

— Он что говорит-то? — повернулся ко мне Санек.

— Не обращай внимания. Это он так шутит. Колян у нас женщинам не верит. Да и людям вообще. А ты ему не верь.

— Люди... — брезгливо ухмыльнулся Колян. — А за что им верить? Кому верить? Этому в рясе, что ли, который психам лапшу на уши вешает: «Господь наш все милостивый...»

Колян передразнил священника, чей голос, доносившийся из коридора, раздражал его еще больше, чем «киска» и «заинька» Санька.

— Я ж сам там был, двое суток в коме провалялся, я ж знаю, что ни хрена там нет! Вообще ничего! Вот и верь после этого... Про баб я уж и не говорю. Этим верить — вообще себя обманывать.

— Не слушай его, Санек. У каждого свой опыт. Никуда твоя девушка не денется.

Я говорил это, пытаюсь поддержать вконец растерявшегося Санька, нокаутированного словами Коляна, но сам чувствовал, что мне не хватает убедительности: у Коляна был опыт потустороннего, которому мне нечего было противопоставить, пережитое им ничто было высшим козырем, побивавшим все аргументы.

Санек снова и снова жал на кнопки мобильного и в ожидании ответа мерил нетерпеливыми шагами палату. Его ревность, как прежде ярость, искала выхода в неутомимом пружинистом хождении, и мой позвоночник опять сжимала боль. Я заставлял Санька лечь, он выдерживал на кровати полчаса, от силы час, потом вновь вскакивал. Кажется, хождение повышало его веру в себя, в вертикальном положении он готов был принять бой с любым противником, а на постели чувствовал себя побитым, раскисал и говорил мне, что Колян, наверное, прав: он действительно не достоин девушки, прочитывающей по учебнику в неделю. Ясное дело, она нашла другого. Я, как мог, разубеждал Санька, но вообще-то его ревность уже сидела у меня печенках — точнее, даже глубже, в хребте, в чьих поломанных, а потом заново собранных позвонках, в межпозвоночных дисках, хрящах и бесчисленных нервах отдавались его шаги по палате. Ближе к вечеру эта пронизывающая меня чуткая антенна заныла так,

что я не мог уже обходиться без обезболивающего, — очевидно, предчувствовала, что нас ждет встреча с ревностью такого накала, в сравнении с которой не только наивная ревность Санька, но и Колянова угрюмая уверенность в ничто покажется капризом и вздором.

Обиженный старик, лежавший, отвернувшись к стене, заворочался и сел на кровати. Одеядло соскользнуло вниз с его крупного, с обвисшими грудями, поросшего седым пухом тела. Оно было в лиловых и малиновых пятнах, в угрях, узлах вен и розовой сыпи — воспаленное, раздраженное тело, не предназначенное для постороннего взгляда, на которое немного стыдно было смотреть. Таким же воспаленным и раздраженным, точно на него перешли малиновые пятна с груди и плеч, было лицо старика с большими дряблыми щеками, мелкими глазами и высоким лбом, крестнакрест заклеенным пластырем, — видно, он, как и большинство в нашем отделении, бился им о неизвестные твердые предметы. Проницательно прищуренные глаза смотрели мимо нас в пространство, но иногда он бросал на кого-либо короткий пронзительный взгляд, и тогда становилось понятно, что он давно всех разглядел, но по каким-то своим соображениям не хочет нас замечать. Губы старика безостановочно шевелились, он быстро и неясно бормотал что-то себе под нос. Постепенно в сплошном потоке клокочущего бормотания стали различимы отдельные слова. Чаще

всего слышались два: «докладываю» и «проститутка». Невнятная речь старика была бесконечным докладом об аморальном поведении какой-то женщины, перешедшей все мыслимые и немыслимые границы и достигшей крайних пределов падения и разврата.

— Докладываю... Едва я на работу, как она шасть... с первым встречным... ни одного не пропускает... проститутка... докладываю... была мною замечена... раздавала авансы... стоит мне отвернуться... думала, я не узнаю... проститутка... считаю нужным поставить в известность... задрала юбку выше колен... вот с таким разрезом, а под ней ничего!.. докладываю...

Довольно быстро сделалось понятно, что женщина, о которой докладывал старик, судя по всему, его жена, избалованная им в измене, точнее, в многократных, постоянных изменах всюду и везде.

— Ни стыда, ни совести... заигрывала с неизвестными субъектами... недвусмысленно намекала... проститутка... в мое отсутствие... растоптала супружескую верность... честь семьи... ничего святого... удовлетворяла свою похоть... докладываю... докладываю...

— Бать, может, хватит, а? — не выдержал Колян. — Может, уже помолчишь?

Старик вынырнул из своего монолога, повернулся к Коляну, хитро прищурился:

— А я тебя знаю! Мы с тобой в главке работали. Ты в отделе планирования был. Что смотришь? Не узнаёшь? А я тебя узнал. Отлично тебя помню.

— Да ты что, бать, какой отдел планирования?! Ты глаза-то разуй, погляди на меня. Похож я на работника главка? Я даже не знаю, что это вообще такое!

Старик ехидно улыбнулся, закивал большой головой, мол, говори, говори, меня не проведешь.

— Ты думал, я тебя забуду? Не-е-ет, я всех помню. Всех до единого. Помню, как ты за Людмилой ухлестывал. И тебя помню, — старик обернулся ко мне, и я впервые встретился с ним взглядом: чистое сияющее безумие глянуло на меня из его блеклых глаз, радуясь нашей встрече и узнаванию. — Ты в Балашихе в мебельном магазине работал, я там замдиректора был. А Люда в секции мягкой мебели, там мы и познакомились. Видел я, как ты на нее поглядывал, все я видел...

Не только каждому из нас, сопалатников, нашлось место в его биографии, но и все заходившие врачи, сестры и санитары оказывались в прошлом его сотрудниками и знакомыми жены. Старик был управленцем из бывших военных и много чем успел поруководить. Теперь незнакомых людей для него, кажется, больше не существовало: стоило ему взглянуть в человека своими мелкими, поблескивающими проницательностью без-

умия глазками, и тот непременно обнаруживался в той или иной роли на одном из этапов его служебной карьеры. И всегда был вовлечен в его отношения с женой: все мужчины ее помогали, а женщины плели против него интриги. Он видел их всех насквозь, для его возбужденного ума не было преград, как не было препятствий для яростного потока его нескончаемого бормотания.

— Слушай, дед, если ты не заткнешься, я сейчас санитаров позову! — Колян шваркнул кулаком по тумбочке у кровати. — Чтобы в коридор тебя к психам вынесли. Там тебе самое место.

Как ни странно, это подействовало. Старик запнулся, несколько секунд губы его шевелились беззвучно, он еще больше покраснел и, мне показалось, готов был заплакать от обиды. Но не заплакал, а отвернулся к стене, лег и дальше бормотал уже себе под нос, заметно сбавив громкость. Нужно было напрягать слух, чтобы услышать:

— Докладываю... проститутка... ставлю в известность... раздавала авансы...

Кому он докладывал? Кого ставил в известность?

А в ужин она пришла к нему — суетливая старушка в очках, с комковатыми розовыми щечками, пуговичным носом и тщательно убранными под платок седыми волосами. Мы поняли, что это и есть изменница и развратница из бесконечного доклада, потому что старик сразу назвал ее по имени:

— Люда! Людочка!

И вместо того чтобы обрушить на нее лавину своих обличений, весь расплылся в счастливой улыбке:

— Нашла меня! Милая! Ну давай, давай скорей поцелуемся! Я уже думал, никогда с тобой больше не увидимся!

Она поспешно обняла его, очевидно, чувствуя неловкость под нашими взглядами, ткнулась губами в щеку, потом принялась кормить своего Димочку — так она его называла. Она принесла с собой целую сумку провизии.

— Вот тебе колбаса дорогая, докторская. Бери с хлебом. Вот творог рассыпчатый, как ты любишь. А вот еще мандарины, давай я тебе очищу.

Димочка, сияя, одновременно запихивал в рот колбасу, творог и мандарины, не обращая внимания на еду, потому что весь был поглощен женой: свободной рукой гладил ее руку, плечо, удовлетворенно мыча набитым ртом, тянулся поцеловать. Она отстранялась, подбирая с одеяла выпавшую у него изо рта пищу.

— Посмотри, как ты насорил. Какой же ты, Димочка, неаккуратный!

Напоследок она побрила его, надела на ночь памперс, причесала остатки волос, сказала, чтобы вел себя хорошо.

Не прошло и пяти минут после ухода жены, как старик выпрямился на кровати, пожевал губами и тихим, но твердым голосом произнес:

— Докладываю. Ушла с неизвестным субъектом мужского пола. Носит нижнее белье импортного производства. Для привлечения поклонников пользуется духами. Проститутка...

Вечер выдался спокойным, прошли с последними уколами сестры, раздали на ночь таблетки; я, устав от бессонницы, взял снотворное. Сравнительно тихо вели себя психи в коридоре. Димочка тяжело ворочался, прежде чем окончательно улечься, не переставая бормотать, но его бормотание уже сделалось привычным, а если не вслушиваться, то почти умиротворяющим. Он долго шарил ладонью по стене над кроватью, и я различил, что он недовольно бубнит:

— Где выключатель? Куда подевала? Здесь же был выключатель... И лампы моей почему-то нет. Ничего не понимаю... Куда она все деваает?

Очевидно, он забыл, что находится в больнице, и воображал, что ложится спать у себя дома, не видел привычных вещей и винил в этом жену. Иногда искоса посматривал на кого-то из нас и ворчал уже совсем невнятно, постепенно затихая. Когда гасили свет, палата исчезала из виду, и можно было в самом деле постараться забыть о больнице, представить, что засыпаешь дома, в своей постели. Нужно было только найти положение тела, в котором боль в спине если не исчезала, то хотя бы замирала, затаивала дыхание, позволяла не думать о ней. В первые дни после операции достигнуть этого было нелегко, но, когда удавалось, наступа-

ло практически блаженство. И вместе с ним осознание, что жизнь зависит только от большей или меньшей степени боли, ее отсутствия вполне достаточно для счастья, а все остальные страдания люди придумывают себе сами. На грани засыпания тело делалось легким, как лодка, спущенная с земли на воду, лодка с длинной трещиной боли, расколовшей ее вдоль всего дна, но все-таки держащаяся на плаву, дрейфующая по течению сна...

Проснулся я от крика:

— Эй! Ты что делаешь?! Стой! А ну стой, кому говорю!

В тусклом свете из окна я увидел громадную фигуру, возвышавшуюся над моей кроватью. Человек был толст и совершенно гол, лишь вокруг пояса у него была бесформенная светлая масса, делающая его еще толще. Он не был неподвижен, и без того огромный, он продолжал расти ввысь, вытягиваясь к потолку. Я лежал на животе и, глядя снизу, увидел, что он поднял вверх обе руки, а в руках у него железный штатив, на который днем вешали мои капельницы с растворами — эту тяжелую железную штукювину он, без сомнения, собирался обрушить на меня.

Кто-то зажег свет (вероятно, Санек, это он кричал: «Эй! Стой!»), и я увидел, что нависший надо мной человек — Димочка, в огромном белом памперсе похожий на гигантского младенца. Я смотрел на него в ракурсе памятника, мне виден был только памперс, живот, над ними малиновые

глыбы щек и дрожащие руки с занесенным штативом. Чтобы перевернуться на спину, мне требовалось не меньше трех минут, о том, чтобы сползти с кровати, вообще не могло быть и речи. Пытаться закрыться было бесполезно — даже просто опущенный на голову штатив проломил бы мне череп, а старик явно готовился вложить в удар весь свой вес. «Ы-ы-ы-ы», — услышал я над собой его нарастающий до крика голос. Он поднимался все выше, переходя в визг, и вместе с ним вздымался трясущийся старик, достигая предела ярости и могущества, откуда должен был низвергнуться на меня, чтобы оставить от меня мокрое место. Его раздутые гневом ноздри с торчащими из них пучками волос были последним, что я запомнил, прежде чем зажмурил глаза в ожидании удара.

Когда я их открыл, Санек с Коляном уже уломали старика. Колян успел ухватить сзади занесенный для удара штатив, Санек пришел ему на помощь. Теперь Димочка сидел на своей кровати красный, мокрый и обиженный — месть не удалась, расплата с одним из любовников жены не состоялась. Скоро появились врач с санитаром — в таких экстренных случаях они приходят быстро, — укололи старика и повезли в реанимацию, куда обычно временно помещают всех обострившихся безумцев.

Как ни странно, через несколько дней он вновь вернулся в отделение, хорошо хоть, не в нашу па-

лату. Мои спасители Санек с Колянком видели его, как ни в чем не бывало прогуливающимся по коридору. Чернявая санитарка, удивлявшаяся, что я ем картошку вилкой, рассказала нам, что после терапии он успокоился, сделался адекватным и послушным, поэтому врачи не стали отправлять его в психбольницу, а просто положили в коридоре, даже привязывать к постели не стали.

А потом Димочка сбежал. То есть совершил наяву то, что мне не однажды виделось во сне. Не знаю, как ему удалось обмануть охрану, но, вероятно, это было не так уж и сложно: все-таки больница не тюрьма. Дальше его следы теряются. Я несколько раз спрашивал о нем у все про всех знающей чернявой санитарки, она отвечала: «Ищут. Подали в розыск. Пока не нашли».

«Бо-о-ольно!» Затем две или три минуты наполненной ожиданием тишины, и в больничной ночи снова раздается тягучий голос из коридора: «Бо-о-ольно!» Кричащий знает, что кричит напрасно, никто не придет, потому что санитары ему не верят, а больные, может, и верят, ведь многим из них тоже больно, но молчат и ненавидят его за то, что он орет за них за всех, и желают ему поскорее отдать концы и дать им наконец спать. Но все равно через примерно равные промежутки времени повторяется «Бо-о-ольно!». Я тоже хочу, чтобы кричащий заткнулся или загнулся, моя боль этой ночью нарушает все наши с ней соглашения и взрывается глубже, чем обычно, и снотворное

не действует, и от обезболивающего мало толку. Кто это, интересно, кричит? Тот, что рвал и сосал спиртовые салфетки? Или мочившийся у всех на виду? Или обещавший миллион тому, кто его отвяжет? Их много там, в коридоре, по голосу не угадать. Только нашего Димочки среди них нет. Наш Димочка выбрал свободу. Я вижу перед собой его малиновое раскаленное лицо с шевелящимися губами, высокий лоб с нашлепкой пластыря и сияющие безумием мелкие глаза, искренне радующиеся узнаванию: «Ты в Балашихе в мебельном магазине работал!» И навстречу этому пронизывающему взгляду во мне открывается, наконец, на месте перелома между третьим и четвертым позвонками внутренний глаз, видящий Димочку, моего неудавшегося убийцу, спешащего по Москве семенящей стариковской походкой. Он идет сквозь мятущиеся толпы, переходит улицы с потоками машин, проходит через войну всех против всех, ежедневно поставляющую пациентов в нашу и другие больницы, минует ментов, у которых есть его фотография и разнарядка на розыск, но они не замечают его, потому что безумие неуловимо в сети разума. Он видит мужчин и женщин, их лица, их жесты, видит влюбленных в зарослях сирени — юношей, дарящих букеты, девушек, опускающих лица в лиловые грозди, — и знает, что в каждом их слове ложь, в каждом взгляде обман, в каждом прикосновении предательство, и сирень пахнет смертью. И он докладывает, до-

кладывает Господу нашему всемилостивому, у которого для таких, как он, есть выделенный канал прямой связи: «При начале всякой дороги построила себе блудилища и наделала себе возвышений на всякой площади; позорила красоту свою, и раскидывала ноги свои для всякого мимоходящего, и умножала блудодеяния свои.

И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе, и осквернили ее блудодействием своим, и она осквернила себя с ними.

И пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть — плоть ослиная, и похоть — как у жеребцов».

Он идет, его потное лицо сияет в свете фонарей, лысый череп блестит в ореоле последних волос, и губы безостановочно шевелятся: «Яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодествовали с нею.

Грехи ее дошли до неба, и Бог вспомнил неправды ее. Воздайте ей так, как она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее.

Горе, горе тебе, Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел суд твой!»

А потом он приходит на свою улицу, находит свою обшарпанную хрущобу, медленно, на дрожащих от усталости ногах поднимается на последний этаж, звонит в дверь, изумленная жена ему открывает. Тут мой внутренний глаз моргает, расширяется, и я вижу их растерянные лица, точно они с трудом узнают друг друга.

— Милая! — говорит Димочка, улыбаясь. — Я нашел тебя.

Мгновение встречи так удивительно, что на время освобождает его от груза пророчества, извлекает из мира неистовой ревности, смиряет разоблачительную ярость.

— Ну давай, давай скорей поцелуемся! Я уже думал, никогда больше не увидимся.

«Бо-о-ольно!»

Кто это? Кто кричал? Я открываю глаза в тускло подсвеченную из окна темноту больничной ночи, пахнущую лекарствами, выделениями и испарениями подгнивающих тел. А может, это я и кричал во сне? Со мной такое случается.